

В форуме «Что такое “региональные исследования” в современной антропологии (на примере Центральной Азии)» приняли участие:

- Сергей Абашин** (Европейский университет в Санкт-Петербурге)
- Гульнара Айтпаева** (Культурно-исследовательский центр Айгине, Бишкек, Кыргызстан)
- Аида Алымбаева (Aida Aaly Alymbaeva)** (Институт социальной антропологии им. Макса Планка, Галле, Германия)
- Алима Бисенова (Alima Bissenova)** («Назарбаев университет», Астана, Казахстан)
- Светлана Горшенина (Svetlana Gorshenina)** (Университет Лозанны, Швейцария)
- Диана Ибаньез-Тирадо (Diana Ibañez-Tirado)** (Университет Лондона / Университет Сассекса, Брайтон, Великобритания)
- Аксана Исмаилбекова (Aksana Ismailbekova)** (Институт социальной антропологии им. Макса Планка, Галле, Германия)
- Тохир Каландаров** (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва)
- Наталья Космарская** (Институт востоковедения РАН, Москва)
- Магнус Марсден (Magnus Marsden)** (Университет Сассекса, Брайтон, Великобритания)
- Кульшат Медеуова (Kulshat Medeuova)** (Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан)
- Эмиль Насритдинов (Emil Nasritdinov)** (Американский университет Центральной Азии, Бишкек, Кыргызстан)
- Борис Петрик (Boris Petric)** (Национальный центр научных исследований / Центр Норберта Элиаса / Высшая школа социальных наук, Марсель, Франция)
- Мадлен Ривз (Madeleine Reeves)** (Университет Манчестера, Великобритания)
- Игорь Савин** (Институт востоковедения РАН, Москва)
- Анна Теслевская (Anna Cieślowska)** (Ягеллонский университет, Краков, Польша)

Томмазо Тревизани (Tommaso Trevisani) (Университет Тюбингена, Германия)

Зулайхо Усманова (Институт философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан, Душанбе, Таджикистан)

Йеско Шмоллер (Jesko Schmoller) (Пермский государственный университет)

Что такое «региональные исследования» в современной антропологии (на примере Центральной Азии)

Распад СССР и образование на его пространстве новых государств, с одной стороны, и усиливающиеся глобальные процессы социального, политического и культурного переустройства — с другой, ставят перед антропологией / этнографией задачу реструктуризации способов накопления и систематизации знания. Одним из направлений является вопрос о реструктуризации региональных исследований. В данном форуме мы предложили участникам сосредоточиться на обсуждении конкретного примера — Центральной Азии или центральноазиатских исследований (Central Asian studies). Ситуация неопределенности, противоречивости и внутренней полемики создает удобный повод для дискуссии о месте и смысле региональных исследований в современной антропологии.

Ключевые слова: региональные исследования, Центральная Азия, Средняя Азия, центральноазиатские исследования.

ВОПРОСЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

Распад СССР и образование на его пространстве новых государств, с одной стороны, и усиливающиеся глобальные процессы социального, политического и культурного переустройства — с другой, ставят перед антропологией / этнографией задачу реструктуризации способов накопления и систематизации знания. Одни темы и проблемы уходят в прошлое, возникают новые интересы и дискуссионные узлы, заново встают вопросы методологии, определения дисциплинарных границ и даже понимания «научности» в антропологических исследованиях.

Одним из направлений этих изменений является вопрос о реструктуризации региональных исследований. Возможны ли они сегодня в принципе или от них нужно отказываться, переходя к «проблемному» разделению научных интересов, а если сохранять региональный принцип, то какими мы должны видеть сами эти «регионы» и их границы в новой ситуации? Этот вопрос стоит особенно остро для российской антропологии / этнографии, которая долгое время развивалась и институционализировалась в виде совокупности четко очерченных

региональных подразделений. Существует опасение, что без региональной специализации профессия антрополога / этнографа потеряет свое дисциплинарное лицо, преэминентность и сложившиеся школы, понимание профессионализма. Но одновременно существует и осознание, что сохранение прежних региональных приоритетов и прежних региональных членений уже не соответствует современным подходам в науке и современным реалиям глобализирующегося и быстро трансформирующегося мироустройства; оно сдерживает обмен знаниями и общую дискуссию, поиски новых тем и проблем, ограничивает сравнительные и междисциплинарные перспективы.

Отдельный вопрос — интерес тех или иных государств и политических элит в том, каким образом реструктурировать региональные исследования, конкуренция между ними за право давать название тому или иному региону и определять его границы. В этом случае антропологам / этнографам нужна саморефлексия по поводу того, для чего и с каким собственными целями они участвуют в этих политических проектах, не становятся ли они акторами новых «больших игр» и неколониальных отношений.

В данном форуме мы предложили участникам сосредоточиться на обсуждении конкретного примера — Центральной Азии или центральноазиатских исследований (Central Asian studies). После образования независимых стран (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) встал вопрос о том, как называть весь этот регион. Вместо советской формулы «Средняя Азия и Казахстан» были предложены «Центральная Азия» и «Центральная Евразия», причем в каждый термин вкладывались разные смыслы и разное территориальное содержание. Эти конкурирующие именованья были закреплены в названиях разных департаментов, программ, проектов, научных сообществ, журналов, книг и конкретных исследований. Такая путаница усугубилась тем, что в некоторых случаях регион остается в составе российских / славянских исследований (Russian / Slavic studies), в некоторых уже перешел в разряд азиатских / средневосточных или исламских исследований (Asian / Islamic / Middle Asian studies). К этому добавляется чувство маргинальности своего поля, которое испытывают многие специалисты по региону, и желание вывести его в отдельное направление со своей спецификой и научной значимостью. Ситуация неопределенности, противоречивости и внутренней полемики создает удобный повод для дискуссии о месте и смысле региональных исследований в современной антропологии.

Мы предложили участникам следующие вопросы для обсуждения:

1

Нужны ли (и продуктивны ли) сегодня региональные исследования, их институционализация в виде отдельных центров, департаментов и научных сообществ, в виде отдельных учебных программ, исследовательских и издательских проектов — или главной тенденцией является развитие сравнительных исследований, исследований глобальности и транснациональности?

2

Как и по каким критериям определить территориальные границы Central Asian studies и насколько необходимо такое определение? Следует ли числить Central Asian studies по ведомству Russian / Slavic studies, Middle Asian studies или нужно считать их самостоятельной областью?

3

Какие содержательные вопросы должны рассматриваться в Central Asian studies? Является ли исламский фактор главной особенностью этого региона?

ГУЛЬНАРА АЙТПАЕВА

1

Актуальна ли дилемма между региональными исследованиями и развитием сравнительных исследований, исследований глобальности и транснациональности? На стадии конкретных исследований приоритет того или иного подхода или использование разных подходов в определенном соотношении происходят сами собой. И на этой стадии изначальные взаимоисключения или противопоставления видятся неестественными и непродуктивными.

Если идти от признания того, что в любом исследовании должен быть тот или иной фокус, в том числе пространственный, то понятия региона избежать сложно. И тогда логично, что возникает та или иная институционализация «региональных исследований». Если идти от признания того, что любое исследование нуждается в какой-то опоре и контексте, идея региональности тоже вполне может быть функциональной. Хотя, вероятно, не все опоры находятся конкретно в изучаемом регионе и не все контексты им ограничиваются.

Возможно, задача в том, чтобы воспринимать «региональные институты» как механизмы (инструменты?), поддерживающие и систематизирующие исследования в том или ином регионе, и тогда надо принять то, что любые механизмы устаревают, ломаются и заменяются.

При проведении антропологического или этнографического исследования понятие «региона» обычно сужается до одного-двух пунктов (села, города, другой единицы). И в этом смысле институты и проекты всегда нацелены на конкретную «региональную» точку. Но точно так же исследование на определенном этапе всегда выходит за пределы региона, в котором проводится. Признаком хорошего исследования может быть способность показать тенденции, проявляющиеся в разных частях мира.

Недавно мы завершили пилотную неделю полевых исследований в селах Искра и Андарак Баткенской области Кыргызстана. Каждый вечер садились командой для обсуждения того, что было добыто, замечено, записано. Так в поле складывалась самая первичная аналитика этого самого поля или эмпирического опыта. При этом в какой-то день некоторые из нас стали употреблять слова «теория», «теоретизация». Возник вопрос, что есть теоретизация и как она могла бы развиваться на основе нашей эмпирики и аналитики. В ущелье близ Андарака мы весьма напряженно думали об этом. Стало ясно, что конкретным ущельем и даже двумя селами впридачу тут не ограничиться. Нужно много другой эмпирики от коллег, работающих в других регионах мира над сходными вопросами: этнические меньшинства, инфраструктурный подход, взаимоотношения соседей. Регионально укорененные исследования — при выходе на стадию академического продукта — нуждаются в гораздо большей перспективе, чем их конкретный регион. И тогда они в самом деле перестают быть региональными, хотя это совсем не означает, что они обязательно будут о глобальности или транснациональности.

Поскольку процесс исследования и процесс институционализации исследований относятся к разным видам деятельности человека, у них и природа разная. На стадии «чистого» (не ангажированного) исследования и концептуализации понятия региональности, глобальности, транснациональности могут естественно сочетаться. Возможности такого сочетания или, наоборот, взаимоисключения при институционализации зависят от характера конкретного института.

2

Я мало задумывалась над территориальными границами региона, в котором живу. Это все же странно, если учесть, что изменения названий происходили на моем сознательном веку. Росла в такое время, когда существовали «Средняя Азия и Казахстан». Из чего вытекало, что Казахстан выпадал из рамок Средней Азии. Определение «Центральная Азия» (ЦА), которое я впервые услышала от американских коллег, вобрало в себя Казахстан, и в этом для меня была его рациональность. Но вот, кажется, Монголию в это определение не включают, и страна уходит в то, что называют «Внутренней Азией».

По природе своей любое этнографическое исследование укоренено в конкретной точке мира, но совсем не ограничивается ею. Мне кажется, именно поэтому — с исследовательской позиции — определение региона необязательно должно быть увязано с жесткими территориальными границами. Между тем названность и выделенность региона есть своего рода дополнительный индикатор на любой стадии исследования.

Очевидно, изучение разных регионов под одной крышей или при одном ведомстве происходило / происходит на определенной идейной основе. К примеру, размещение подразделения по изучению ЦА под крылом изучения России является для меня показателем того подхода, который обобщенно можно назвать популярным сейчас словом «западный». С понятийной дистанции Америки, да и Европы, когда такие департаменты формировались, Россия и ЦА были одним большим регионом с одним ведущим языком и со множеством общих процессов. Такая логика и объяснима, и понятна. Мне кажется, при такой логике больше активизируется и фокусируется политическая составляющая, хотя в большинстве работ речь напрямую о политике и не будет вестись.

Можно ли предположить, что если ЦА идет по ведомству, скажем, Среднего Востока, то здесь будут акцентироваться другие смыслы? Теоретически можно. Практически, если исходить из содержания самого регионального поля, могут изучаться те же процессы и явления, что и при других подразделениях ЦА. Может быть, теоретизация будет другой?

Изучая многие годы практики паломничества на святые места в Кыргызстане, я подумывала, что хорошо бы съездить на «строго» мусульманский Восток, посмотреть, как у них это происходит. Было у меня предположение, что есть общая основа у того, что происходит там и на некоторых мавзолеях Кыргызстана. В 2013 г. я попала в Иране на конференцию, посвященную потомкам великих имамов, в том числе и их священным мавзолеям (мазарам). Наблюдала, какая фундаментальная разница лежит в основе религиозных практик тамошних и наших мусульман-паломников. Мне казалось тогда, что в определенном смысле наши мусульмане ближе к некоторым христианам российского Горного Алтая и другим совсем не мусульманским народностям. Не уверена, что это самый внятный пример. Я привела его для того, чтобы показать, как сам контекст или его расширение / изменение влияют на наше исследование. А то, в рамках какой программы функционирует учебное / исследовательское подразделение, какие языки там преподаются, есть неотъемлемая часть этого контекста.

Структуры по изучению ЦА хорошо бы иметь отдельным ведомством. Однако часто это вопрос не только идей, но и финансовых ресурсов, кадровых возможностей.

3

Изучение ЦА должно быть посвящено всем тем вопросам, которые актуализирует поле. И в этом смысле сотни *-измов* имеют место быть: национализм, традиционализм, фундаментализм, гомосексуализм и т.д. Исламский фактор сам по себе, как фактор религиозный, по моим наблюдениям, не является

главной особенностью региона. Исламский фактор в конфликте с традиционными духовными ценностями разных народов, проживающих в регионе, в сочетании с социальным развитием, гендером, образованием рождает сотни исследовательских вопросов и перспектив. Хорошо бы гуманитарным областям вроде литературы, духовности, живописи, языков стать ближе к ядру изучения ЦА и не быть в несколько маргинальном положении, как это наблюдается нынче.

АИДА АЛЫМБАЕВА, АКСАНА ИСМАИЛБЕКОВА

Рефлексия из «поля», или «антропология у себя дома»¹

О региональном подходе и маргинальности тематики Центральной Азии

19-й номер «Антропологического форума» был посвящен проблеме «туземной» и «провинциальной» науки. В какой-то степени тема этого номера перекликается с той через невидимую, но присутствующую в ней парадигму «центр — периферия». Для кого и откуда рассматривается перспектива «региональности»? Очевидно, что из «центра» — советского, постсоветского, российского — каждое из этих определений имеет смыслы. Речь ведь идет о рассмотрении «судеб» региональных исследований в российской науке, что прямо или косвенно отражается и на направлениях исследований внутри того самого «региона», о котором идет речь, пусть даже как о примере.

Обращаясь к вопросу о «региональности», можно вспомнить о корнях колониальных европейских проектов об Африке или Центральной Азии — производстве информации о местном населении, его знаниях и культуре с целью последующего использования этой информации в политических и эконо-

Аида Аалы Алымбаева
(Aida Aaly Alymbaeva)

Институт социальной антропологии им. Макса Планка, Галле, Германия
alymbaeva@gmail.com

Аксана Исмаилбекова
(Aksana Ismailbekova)

Институт социальной антропологии им. Макса Планка, Галле, Германия
aksana_ismailbekova@yahoo.co.uk

¹ Авторы выражают благодарность профессору Гюнтеру Шлее, доктору Джеймсу Карриеру и доктору Эве Кескюла за их отзывы на ранние версии этого текста. Диссертационные проекты авторов, материалы которых использованы в статье, были поддержаны Институтом социальной антропологии имени Макса Планка (Германия). Для авторов также были очень полезны встречи и дискуссии, организованные Центром антропологических исследований Центральной Азии (CASCA) <<http://casca-halle-zurich.org/de/events/>>.

мических целях. Колониальные региональные исследования имели слабые методологические подходы и не стремились к теоретическим обобщениям. Наоборот, они основывались на накопительном подходе со статическим, эссенциалистским взглядом на культуру и географические границы.

В Германии в последние годы развивается новый подход, получивший название «Перекрестки Азии» (Crossroads Asia), который можно отнести к пострегиональному направлению в социальных науках¹. Этот подход рассматривает мир не как разделенный на фиксированные территории или «регионы», а как динамичный и подвижный, изменчивый. Такой взгляд помогает преодолевать и переосмысливать консервативный региональный подход. Как пример можно рассматривать мигрантов из Центральной Азии в России, которые «ведут» транснациональную жизнь, выходящую за рамки национальных границ; в повседневность мигрантов постоянно включены пересечение и обсуждение границ, устройство новых пространств и мобилизация своих родственников. Разрабатываются методы изучения повседневности (такие как multi-sited ethnography или мультилокальная этнография, когда исследователь выбирает несколько мест для изучения и передвигается между этими местами, нередко следуя за своими информантами) и инструменты анализа, а также пересматриваются такие концепции социальных наук, как «пространство», «сети», «мобильность», которые помогают преодолевать институционализацию региональных исследований. Вне статического понимания регионализма более продуктивным представляется фокусирование на повседневных реалиях людей, их действиях и взаимодействиях. Такой подход помогает увидеть деятельность жителей Центральной Азии, которые живут не изолированно в регионе, а связаны с Южной Азией, Россией и Китаем благодаря потокам идей, людей и товаров.

Размышляя о маргинальности тематики Центральной Азии, можно наблюдать и некоторый интерес в европейской академии, где исследования по Центральной Азии есть в минимальном количестве, нередко в качестве сравнительной перспективы для изучения Африки или Ближнего Востока или в составе большего региона изучения — постсоветского — по определенному кругу вопросов. Открытие небольшого Центра антропологических исследований Центральной Азии (CASCA) при немецком Институте социальной антропологии им. Макса

¹ В настоящее время десять университетов в Германии проводят исследования в русле данного подхода, фокусируясь на проблемах мобильности, взаимодействия и конструирования человеческого пространства. Больше об этом подходе можно узнать на веб-сайте <<http://crossroads-asia.de/en/home.html>> и в работе [Mielke, Hornidge 2014].

Планка и Факультете антропологии Цюрихского университета говорит о том, что интерес к региону имеется, хотя в «регион» включаются, кроме пяти постсоветских республик, еще и Монголия, Синьцзян и Тибет. Кроме того, внимание к Центральной Азии сильно связано с личными интересами профессора: нередко он собирает проекты по Центральной Азии в соответствии со своей «узкой» специальностью (как Петер Финке в Цюрихском университете, Ингеборга Балдауф в Гумбольдском университете или Ролланд Харденберг в Тюбингенском университете).

Маргинальность тематики Центральной Азии в российской (или шире, постсоветской) науке известна и объясняется еще досоветским слабым интересом «петербургской элиты по сравнению с остальными “окраинами”» и, более того, случайным присоединением многих территорий рассматриваемого региона к России в прошлом [Абашин 2008: 459]. Сокращение изучения Центральной Азии в Российской академии наук в постсоветское время говорит о продолжении «традиции» маргинальности этой тематики. Интерес к рассматриваемому региону в советский период трудно назвать маргинальным, пусть он и немало служил политическим и идеологическим целям. Кроме того, именно советские 70 лет, что ни говори, положили начало исследованиям, проводимым, что называется, «внутри» и «изнутри» региона. (На самом деле, если пытаться думать вне «региональной» лексикологии, трудно избежать самого слова «регион», настолько прочно оно вошло в наш язык и мышление! А как еще можно назвать одним словом территорию нескольких государств?) О двух примерах «полей» из таких исследований «внутри» речь и пойдет в данной публикации.

***Какие же мы антропологи:
«туземные», «местные», «гибридные»?***

Изучение региона «внутри» и «изнутри» приводит к перспективам антропологии Центральной Азии и центральноазиатской антропологии. Первая перспектива — более широкая, включающая в себя тех, кто изучает регион и «извне», и «внутри». А вторая уже — это те, кто изучает «самих себя» в регионе. На наш взгляд, во второй перспективе диалектика центра и периферии теряет свою остроту: «мы», выросшие в здешней культуре, «местные», изучаем «свою» же культуру. Что есть центр, а что есть периферия в «нашем» случае? Что есть «регион» для «нас» — «местных»? Скорее всего, мы просто не рассматриваем ситуацию в данной перспективе.

Но тут встает другой вопрос. «Мы» — это еще и те, кто получает образование «совсем вне», т.е. в том мире, который является

«внешним» и для нашего бывшего колониального центра, — в Европе. «Мы» изучаем «свою», «домашнюю» культуру (anthropology at home). Но при этом мы пользуемся научным и теоретическим аппаратом, полученным на Западе, и большое место в нашем исследовании занимает научная база, накопленная российскими коллегами. Достаточно длительное проживание «вне дома» позволяет нам некий взгляд если и не «извне», то «со стороны», необходимый для более-менее критического рассмотрения феноменов культуры. Коллеги, выросшие в других местах планеты, приезжающие в Центральную Азию изучать, скажем, проблемы родства или коррупции, тоже неизменно входят в контакт и взаимодействие с полем, и то знание, которое они производят, тоже является результатом этого взаимодействия. На тот момент, когда они находятся в поле, оно превращается в их «дом», пусть временный. Понятия «дома», «вне — внутри» становятся условными¹.

Первый вариант этой публикации, который был гораздо меньше данного, написан на английском языке. Загвоздки возникли при переводе. Благодаря комментарию переводчицы Александры Касаткиной о русском эквиваленте для английского “native anthropology” (за что мы ей очень благодарны, простите за тавтологию) мы задумались о том, что трудно без оговорок принимать любые варианты для перевода. В русскоязычной и, нужно уточнить, в советской и постсоветской литературе такого угла зрения на позицию исследователя особо не наблюдается. Вариант «туземной» антропологии как эквивалент не может быть применен, поскольку он поднимает громадный пласт колониальных и постколониальных дискуссий о соответствии «туземности», «местности» (существительное, образованное от прилагательного «местный»), «локальности». Потому что они, если пытаться кратко войти в суть дела, содержат в себе эту перспективу «центра — периферии».

В процессе подготовки этого материала стало понятно, что два термина могут использоваться как эквивалентные, как взаимозаменяемые и то лишь при необходимости: «местный» и «локальный». Мы все имеем одну цель — изучение культуры.

На время исследования, особенно если брать долгосрочное пребывание в поле, как требуется в классической антропологии, ученый неизбежно входит в контакт с культурой. Через какое-то время он начинает переживать события и отношения

¹ Мы благодарим доктора Ольгу Ультургашеву и доктора Мадлен Ривз за их мнение по рассматриваемому вопросу, которое мы здесь частично выражаем. Мы также благодарим доктора Алиму Бисену и профессора Кульшат Медеуову за их точку зрения, с которой они нас познакомили в процессе обсуждения вопроса о русском эквиваленте английского “native anthropology”.

внутри поля, и не только он начинает влиять на поле, но и поле неизбежно начинает влиять на него и нередко еще долго продолжает волновать по-настоящему и после того, как ученый его покидает. Взаимосвязь исследователя и информанта и поля, рефлексия и саморефлексия исследователя рассматриваются в ключе производства знания — знания «локального», или «помещенного» (*situated knowledge*) [Adams 1999: 332]. В этом взаимодействии исследователя и поля (читайте «информанта») на соотношение «сил» влияет «динамика» расовой, классовой, национальной, возрастной, гендерной, культурной идентичностей и нередко заставляет исследователя уступать полю, скрытым в нем властным течениям [Narayan 1993: 671–672; Adams 1999: 332]. Осознание исследователем, как пишет Нараян, своей гибридности — одновременной принадлежности к миру вовлеченного исследования и миру повседневности — должно приводить к производству знания «локального» (*situated*), как результата диалогов и как части происходящего процесса [Narayan 1993: 671–682]. Йакобс-Хьюи пишет о важности критической рефлексивности «местных» (*native*) антропологов по поводу собственного позиционирования и «голоса» в пику монолитным и романтическим трактовкам культуры [Jacobs-Huey 2002: 791].

Тем самым мы подводим разговор к собственной рефлексии по поводу наших полей.

Социальное исследование и отношения власти неразделимы. Как исследователи мы можем только постоянно заниматься пристальным самонаблюдением, чтобы выявлять ту позицию, которую занимаем в сетях власти по отношению к нашим партнерам по исследованию, научному сообществу и обществу в целом. В этом тексте мы хотим предложить анализ наших позиций «местных» антропологов (*native anthropologists*). Как справедливо отмечает Коэн, «те исследователи, которые изучают свои собственные общества, пребывают во власти тех самых символов, которые они пытаются декодировать; ведь большинство символов уходит корнями в бессознательное, а потому людям, живущим под их воздействием, нелегко их разглядеть и проанализировать» [Cohen 1974: 8].

Он же изящно указывает на одну из главных проблем локальной антропологии, а именно поддержание дистанции с «локальным»: «Едва ли рыба способна открыть существование воды» [Cohen 1974: 8]. Мы не собираемся сейчас оправдывать или защищать позиции, которые мы занимали в нашей полевой работе. Скорее мы попытаемся показать, какие альтернативные способы сбора данных доступны локальным антропологам. Подобно рыбе Коэна, локальные антропологи, изучая

свое собственное общество, рискуют проглядеть некоторые опорные точки, укорененные в их культуре.

Обычно хорошее начало для антропологической полевой работы — это сопоставление локальной системы значений и концептуальной рамки самого антрополога. Однако, поскольку мы сами принадлежим к той культуре, которую выбрали для антропологического исследования, оказывается, что правила и нормы изучаемого общества сковывают и нас тоже, так что трудно взглянуть на него свободным взглядом «пришельца извне» — тем взглядом, с которого, собственно, и начиналась антропология. Поэтому наше понимание киргизов и кыргызстанских калмаков и их общественной жизни в некоторой степени основано на нашей ограниченной позиции «инсайдеров» и нашей точке зрения молодых женщин-киргизок.

И все же мы знаем и о том, каково это — быть не из Кыргызстана. У нас есть фон для сравнения и точка отсчета для анализа поведения наших киргизских информантов: мы учились и работали в Американском университете Центральной Азии, несколько лет жили в Германии, много читали и много времени посвящали исследованиям в этой области. К тому же мы можем использовать в наших исследованиях элементы стиля советской этнографии, которая была основана на сборе данных для составления как можно более детальных описаний.

Мы надеемся, что сочетание западного образования, советских традиций сбора этнографических данных и нашего «местного» происхождения позволяет предложить в наших диссертациях альтернативный способ понимания культуры в Кыргызстане через изучение и нашего собственного жизненного опыта, и опыта наших информантов. Во время полевой работы мы поняли, что наша принадлежность к местному сообществу может быть препятствием, поскольку иногда она не позволяла нам отчетливо разглядеть социальные правила и нормы. Тем не менее мы обнаружили, что у этой позиции есть и свои преимущества. Мы хорошо говорим по-киргизски, а значит, могли отмечать кое-какие мелочи, которые не относились напрямую к нам, и понимать скрытый смысл метафорических фраз, которые могли бы показаться бессмыслицей внешнему наблюдателю.

Часто мы сталкивались с этической дилеммой: наша противоречивая позиция исследователей и молодых невесток (*келин*) порождала проблемы. В кыргызстанском контексте эти разные позиции могли быть несовместимыми, и тогда мы попадали в неприятную ситуацию в поле. Для нашего поля характерна сложная сеть обязательств, и конфликт был неизбежен. Мы должны были учитывать одновременно несколько факторов, чтобы отдать должное и правилам и нормам киргизского со-

общества, и профессиональной этике и ответственности академических исследователей, и этике международного исследования. Мы старались находить приемлемые для всех решения проблем, хотя не всегда это было легко.

Далее мы приводим несколько примеров, которые иллюстрируют эти конфликтующие принципы.

Поле 1

Вдохновленная этнографической работой Джона Кэмпбелла [Campbell 1974], Аксана Исмаилбекова избрала для своего первого этнографического исследования деревню, в частности локальные институты патронажа и родства. Однако, столкнувшись с интересной и динамичной социальной активностью своих информантов, она неожиданно оказалась вовлечена в мультилокальную полевую работу. Оставаясь на месте, Исмаилбекова не смогла бы постичь глубину гибкой и всепроникающей системы патронажа, его функции и механизм в разных социальных контекстах. Переезжая вслед за своими информантами, вместо того чтобы весь год сидеть на одном месте, она больше узнала об их повседневных практиках и стратегиях. Наблюдение за перемещениями информантов и их каждодневной рутинной помогло ей глубже понять систему патронажа.

В основе диссертации Исмаилбековой лежит продолжительная полевая работа, которая началась в марте 2007 г. и закончилась в апреле 2008 г. Во время полевой работы в Кыргызстане Исмаилбекова жила в двух селах. Она начала с Орловки (население около 5000 чел.), а потом ее фокус сместился к селу Восток (население около 5700 чел.)¹. Это были основные точки, но кроме того, она провела много времени, следуя за своими информантами, которые участвовали в агитации во время выборов, помогали с организацией праздника или с разрешением конфликта в соседней деревне. В результате Исмаилбекова начала понимать динамику локальной системы патронажа (подробнее см.: [Ismailbekova, forthcoming]).

Ей постоянно приходилось заново обговаривать свою позицию в поле. Рефлексия трех основных позиций изложена в следующих разделах.

Женщина

Многие антропологи сталкиваются с подозрительностью со стороны информантов в свой адрес. Исмаилбекова не стала ис-

¹ Названия сел и имена информантов Исмаилбековой изменены.

ключением, поскольку там, где она проводила полевое исследование, жизнь нелегка, постоянно требуется тяжелый труд, в то время как она, вместо того чтобы работать, ходила по селу, стучалась в дома и разговаривала с людьми. Она слышала, что некоторые сельчане обеспокоены ее присутствием и хотели бы понять причину. Одни думали, что ее могло послать сюда немецкое правительство, чтобы проверить, как живет «немецкая» деревня сразу после массового отъезда немцев в Германию. Другие полагали, что она преподает немецкий язык детям, пусть даже она этого не делала. Третьи считали, что Исмаилбекова принадлежит к новой христианской секте¹. Всякий раз ей приходилось объяснять, что она студентка и проводит в селе исследование, чтобы понять культуру местных жителей. Несмотря на эти разъяснения и письмо от Института им. Макса Планка, информанты тщательно обдумывали каждый свой ответ, прежде чем выдать хоть какую-то информацию. Интересно, однако, что у ее амплу подозрительной личности было несколько причин.

В сельском Кыргызстане Исмаилбекова имела статус очень молодой жены. Мужчины не воспринимали ее как человека, которому «подобает» проводить исследование и интересоваться политическими вопросами. Но и молодые женщины не признавали ее своей и не допускали в круг своих бесед, потому что она не могла помогать им с приготовлением пищи по их правилам. Несмотря на это, Исмаилбековой удалось провести несколько интервью для своего исследования.

Но она не может не признать, что установлением отношений с высокопоставленными чиновниками занимался главным образом ее муж (который сопровождал ее во время всего полевого исследования), он же вовлекал собеседников в нужные ей политические дискуссии. Однажды она заготовила вопросы для информантов о частном фермерстве. Но вскоре заметила, что они смотрят не на нее, а на ее мужа и отвечают ему. Иногда они делали мужу намеки, что для получения дополнительной информации ему следует прийти позже и одному. Они не ожидали, что исследователем окажется Исмаилбекова! А она поняла, что она лишь «невидимка» при «настоящем мужском разговоре». Когда ее муж задавал вопросы или проявлял интерес к жизни информантов, мужчины воспринимали его всерьез и находили время, чтобы дать нужную ей информацию. Только благодаря мужу она смогла получить доступ к некоторым очень важным людям, понять, как они ведут дела, и добиться их при-

¹ Это связано с частыми посещениями домов в населенных пунктах Кыргызстана приверженцами и агитаторами некоторых христианских сект, среди которых немало и новообращенных киргизов.

знания, несмотря на сравнительно молодой возраст в иерархичном обществе, где женщины имеют низкий статус и сфера их влияния ограничена.

Но что это говорит нам о политике в Кыргызстане? Конечно, это означает, что так называемая «реальная политика» обсуждается только среди мужчин и причастность к ней полностью определяется гендером. Из-за ограничений, накладываемых половой принадлежностью, у Исмаилбековой не было доступа к неформальным закулисным разговорам мужчин. Более того, мужчинам было некомфортно обсуждать политические вопросы с замужней женщиной, которая не является их родственницей, и потому они говорили с ней только в присутствии ее мужа. Часто ей просто приходилось объяснять информантам, что ее муж — понимающий человек и потому позволяет ей разговаривать с мужчинами.

В то же время местные мужчины посматривали на ее мужа с подозрением, потому что он позволял жене обсуждать политику с совершенно чужими людьми. Так что Исмаилбековой пришлось изучать патронаж, принимая участие в различных событиях и анализируя те обещания, которые патрон давал перед своими людьми публично. Иногда ей удавалось поговорить с его близкими друзьями, но они выражали скептицизм и не всегда были с ней откровенны, предпочитая обсуждение интересных ей вопросов с ее мужем.

В итоге она пришла к выводу, что все, что можно было сделать, будучи женщиной, — это наблюдать поведение мужчин, например, те способы, какими они решали свои проблемы. Эта мысль пришла ей в голову, когда ей показалось необычным, как мужчины разрешили одну проблемную ситуацию, в то время как ее муж не нашел в их поведении ничего удивительного. И она подумала, что было бы интересно понять эти две разные точки зрения.

В силу гендерной принадлежности, статуса и возраста Исмаилбекову воспринимали в этом сообществе как молодую жену (*келин*). Ожидания, которые предъявлялись к молодой жене, вступали в противоречие со статусом исследователя: исследователь независим, не отягощен обязательствами, может свободно задавать вопросы. По «традиции» молодая киргизская жена должна жить с родителями мужа, готовить для них пищу и заботиться о детях. В селе ее позиция молодой жены была одной из самых низких, и в результате она активно включилась в занятия, приличествующие ее «официальной» роли: как *келин* ей разрешили прибирать в домах некоторых пожилых информантов, мыть для них посуду, готовить для них еду. Сельские женщины не говорили ей, что делать. Ожидалось,

что она сама знает обязанности молодой жены и будет помогать им, не дожидаясь напоминания. Иначе бы она заслужила репутацию «плохой молодой жены». Если бы иностранный исследователь взялся помогать в этом сообществе по дому, его бы окружили уважением и восхищением и приняли бы с почетом. В данном конкретном случае от исследовательницы ожидалось, что она знает свое место в обществе.

Несмотря на все свои старания быть хорошей молодой женой, Исмаилбекова все же не могла всегда соответствовать этому статусу, поскольку писала книгу и занималась исследованиями, а значит, ей нужно было свободно разговаривать с людьми, независимо от их возраста, пола и статуса. Молодые жены обычно не обращаются напрямую к своим свекрам или другим старшим родственникам по мужу и не должны произносить их имена. Но в то же время она не была свободна от давления старших по возрасту информантов, которые желали, чтобы она вела себя правильно. Ее считали плохой *келин*.

Антрополог

Когда Исмаилбекова начала исследование в селах, один информант рассказал ей о человеке, который искал себе поддержку, чтобы сместить сельского главу, обвинив его в продаже и сдаче в аренду сельских земель дунганам (небольшая этническая группа). Этот кейс показался ей очень интересным, и она решила попробовать найти этого человека, чтобы записать его биографию.

Это был молодой и целеустремленный мужчина, который хотел занять пост сельского главы при помощи шантажа, манипуляций и бесконечных жалоб главе районной администрации. Когда Исмаилбекова попросила этого жалобщика об интервью, он неожиданно оказался очень открыт и расположен, в отличие от других киргизских мужчин. Почти полдня он рассказывал ей о тяжелой ситуации в селе и о своем намерении построить дома и раздать бездомным. Он хотел осуществить это при помощи Жилищного фонда (западной организации Habitat Foundation), который давал долгосрочные ссуды частным лицам. Он разрешил Исмаилбековой записать их разговор при условии, что диктофон не будет бросаться в глаза. Он начал обвинять сельского главу в безответственности и воровстве сельских налогов.

И вдруг стал расспрашивать о ней самой, ее статусе и целях работы. Когда Исмаилбекова рассказала ему о себе, своей работе и роли антрополога, он попросил ее об услуге. Прежде чем уточнить, чего именно он хочет, он сказал ей, что очень уважа-

ет ее как образованного человека. А потом попросил ее пойти к главе района и пожаловаться на главу села. По его мнению, ее статус ученого придаст убедительности его аргументам. Глава района отвечал за назначения и смещения глав на вверенной территории. Исмаилбекова была поражена, поскольку информант поставил ее в крайне неловкое положение. Более того, он даже не попросил, а выразил уверенность, что она согласится: он дал ей адрес этого человека и начал было звонить, чтобы назначить для нее встречу с ним.

В глазах Исмаилбековой в этой ситуации местный житель, желая сместить сельского главу, пытался манипулировать ее позицией исследователя. Но ведь он рассказал ей столько интересного... Она чувствовала, что обязана что-то сделать для него.

Это происшествие показывает, что иногда Исмаилбекову все-таки воспринимали не как низкостатусную *келин*, но как образованного человека. И все же она не стала выполнять его просьбу и поборола искушение включить его рассказы в свою диссертацию, сочтя это неэтичным.

Международный наблюдатель

У Исмаилбековой была возможность поучаствовать в местных выборах депутатов Парламента и стать свидетелем этого процесса, полного нарушений. Но она не могла сообщить о нарушении международной организации «Интер-Билим»¹, с которой тогда сотрудничала, поскольку в таком случае она стала бы изгоем в селе — в своем основном поле. Исмаилбекова столкнулась с этической дилеммой. Ее спасло то, что перед тем как приехать в село, она не подписала никаких документов этой организации, где бы говорилось об обязанности отстаивать правду. Организация просила своих «наблюдателей» только подмечать некие особые манипуляции председателя избирательной комиссии, которых она не видела.

Во время выборов возник вопрос, возьмет ли она пустые бюллетени (то есть 50 потенциальных голосов), чтобы сделать «вброс» за кандидата от их села, несмотря на то что она была наблюдателем от «Интер-Билим». Один из сельчан принял решение за нее, будучи уверен, что, поскольку она «своя» в их селе, она, конечно, поддерживает их кандидата. Исмаилбекова сказала, что ей не нужны никакие пустые бюллетени, и после долгих споров ей все же удалось убедить сельчан не настаивать и не давать ей бюллетени.

¹ Во время обучения инструкторы международной организации «Интер-Билим» рассказывали о своем опыте столкновений с мошенничеством на выборах в деревнях.

Имея во время тех выборов официальный статус «международного наблюдателя» от международной организации «Интер-Билим», она полагала, что, не будучи ни членом сельского сообщества, ни лицом, призванным контролировать соблюдение правил на выборах, она занимает нейтральную позицию. Эта ситуация на выборах заставила Исмаилбекову снова размышлять о своей роли исследователя и убедиться в том, как сложно поддерживать баланс: выбрать такую позицию, которая бы не вызывала бы раздражения в селе, но позволяла продолжать наблюдения.

В целом позиция, которую занимала Исмаилбекова, позволила многое узнать об общественной жизни села и взглядах его жителей на роль и положение женщин. Та ниша, которую для нее выделили в этом обществе, показывает, что там действует четкое гендерное разделение и выраженная возрастная иерархия. Будучи одновременно и исследователем, и наблюдателем на выборах, и *келин*, она столкнулась с несколькими этическими дилеммами.

Ее промежуточное положение между местным жителем и приезжим часто приводило к неловким ситуациям. В то же время ее позиция послужила моделью поведения для других: Исмаилбекова обнаружила, что, будучи «плохой» *келин*, она тем самым добавляла легитимности позициям других *келин*, которые не вызывали упреков, поскольку знали подобающее им место. И ее положение не было стабильным: иногда ее высокий статус исследователя признавали и уважали, так что даже просили ее поговорить с главой района от имени человека, который хотел возглавить село. Ее позиция позволила увидеть и прочувствовать на себе локальные ценности и представления о должном и приемлемом.

Поле 2

Диссертация Аиды Алымбаевой посвящена вопросу о том, как люди выражают свое отношение к двум этническим категориям — «калмак» и «кыргыз» — на примере села Чельпек, расположенного близ города Каракол¹.

Село Чельпек среди киргизскоговорящего населения Кыргызстана имеет репутацию калмакского или сарт-калмакского². Оба названия отсылают к группе западномонгольского или ойратского происхождения, которая мигрировала из Синьцзян-

¹ Подробнее в [Алымбаева 2014].

² «Калмак» в контексте Чельпека имеет отличительное значение от принятого «калмык», поэтому сохраняется написание того варианта, который важен для чельпекцев.

ского Текеса в конце XIX в. [Бурдуков 1935; Жуковская 1980]. Основываясь на этих сведениях и памяти об их владении калмыцким языком, чельпекцев обычно ассоциируют с калмыками, живущими в Российской Федерации. Все, кто как-то связан с этим селом, считаются калмаками / сарт-калмаками. Жители Чельпека могут называть себя калмаками, сарт-калмаками или киргизами в зависимости от ситуации.

В контексте Чельпека категории «калмак» и «сарт-калмак» могут пересекаться, совмещаться или противопоставляться в разных ситуациях. Поэтому Алымбаева предпочитает использовать не этнические категории, а нейтральное слово «чельпекцы», когда возможно, или же использовать их через «слэш», тем самым показывая их взаимосвязь. К киргизам же чельпекцы могут себя причислять, поскольку киргизский язык давно стал основным языком, культура и образ жизни практически полностью схожи с киргизскими. Сельчане сами отмечают высокую степень смешанности в результате браков с киргизами, известных еще со времен миграции.

Общим в полевом опыте Алымбаевой и Исмаилбековой оказалось восприятие полем женщин-антропологов. Область исследовательских интересов Алымбаевой определила отличие в том, какого рода интерес проявляли к ней как исследователю.

Интерес к исследователю в поле

Одной из основных ролей, которыми наделяли Алымбаеву ее собеседники, была роль историка. Во время полевой работы в Чельпеке в 2011–2012 гг. ее больше всего удивило стремление многих сельчан найти «историческую правду» о своем происхождении. Таким образом они надеялись получить ответ на вопрос: «Кто же мы на самом деле?» Это требование (знать о своих корнях) было обусловлено отношением соседей — жителей ближайших населенных пунктов, СМИ и киргизского большинства. Озабоченность людей, и не только в Чельпеке, своими корнями сформирована и современной этнополитической реальностью Кыргызстана, и наследием советской национальной политики.

Сельчане ожидали, что Алымбаева отыщет правду об их происхождении или укажет им, как ее найти. Она не возражала своим информантам, ее даже трогало их отчаянное желание узнать историческую правду. Более того, она приехала в это село, желая узнать, что значит быть сарт-калмаком или калмаком. А на этот вопрос невозможно ответить, не зная «истины» о своем происхождении.

Этот вполне примордиалистский вопрос возник у нее в 2008 г., когда она впервые встретилась с понятием «сарт-калмак». Это было летом, когда исследовательский центр «Айгине» в Бишкеке, где Алымбаева тогда работала, организовал небольшой проект. Одной из задач было провести небольшой опрос об идентичности сарт-калмаков, и ей поручили составить опросник. Когда она позже ознакомилась с результатами, ей стало любопытно узнать больше о людях, которых так называют.

Этничность как измерение для категоризации нередко становилась вопросом в отношении к исследовательнице в поле. Собеседники Алымбаевой интересовались ее собственной этнической принадлежностью и спрашивали, кто она, киргизка или калмачка. Этот вопрос ей задавали не только жители Чельпека, но и некоторые ученые в Академии наук в Бишкеке, а также в Элисте на конференции, в которой она участвовала в 2011 г. Через какое-то время Алымбаева стала говорить сельчанам, что она смешанных кровей («метиска»¹): «отец — киргиз, мать — казашка». Она решила, что так ее могут лучше воспринимать, чем если бы она была «чистой» киргизкой. Когда она поначалу говорила, что она киргизка, восприятие несколько отличалось. Для некоторых ее собеседников гибридность была сущностным элементом самоидентификации.

После выяснения, какое отношение Алымбаева имеет к сарт-калмакам, люди обычно интересовались, почему она взялась их изучать. Такова норма в постсоветской академической практике, по крайней мере в Центральной Азии: культуру той или иной этнической группы изучает ее представитель. В первые месяцы исследования у Алымбаевой спрашивали также, почему она изучает именно сарт-калмаков, а не дунган, или уйгуров, или узбеков, или какие-нибудь другие «более известные» меньшинства. Первые два раза она терпеливо рассказывала всю вышеописанную историю своего интереса. Но заметила, что это было непонятно и не удовлетворяло собеседников. Алымбаева спросила у ныне покойного Бектура Мансурова (он был энтузиастом местной истории и одним из ключевых информантов Алымбаевой) совета о том, какой ответ был бы наиболее подходящим и в то же время честным. Вдвоем они решили, что лучше всего говорить, что она изучает так называемые «малые народы». И этот ответ имел успех, его принимали благосклонно и с пониманием, потому что он подчеркивал статус сарт-калмаков как меньшинства.

¹ Хотя термин «метис» чаще используют по отношению к детям из смешанных семей киргизов и русских или представителей других славянских («европейских») групп.

Методологические рефлексии как часть полевой работы

Результаты полевой работы Алымбаевой и ее взаимодействие с информантами определялись ее ролями женщины, киргизки и исследователя. С одной стороны, ее воспринимали как киргизку, потому что, приветствуя людей, общаясь с ними, принимая или готовя с ними пищу, она следовала неписаным «киргизским традиционным» правилам, воспринимаемым человеком в результате социализации в той же (или очень близкой) среде, что и культура поля. С другой стороны, ее постоянные размышления о том, что она видела, слышала и переживала в поле, получали отражение в процессе написания, перешли из полевых записок в раздел по методологии диссертации как часть производства знания о поле.

Алымбаева старалась быть объективной во время полевой работы и даже после отъезда из поля. Под «объективностью» здесь понимается стремление дистанцироваться от собственной эмоциональной вовлеченности в поле. Это не всегда удавалось как раз из-за постоянной рефлексии, а подчас и конфликтов между тем, что она наблюдала, слышала, и ее собственным багажом «женщины-киргизки» и исследователя. Анализ таких конфликтов помогал ей анализировать собственные предрассудки, которые она принесла из «своей» культуры, личной жизни и академического опыта. И это, в свою очередь, помогало ей понимать скрытые смыслы изучаемого поля.

Таким случаем стало наблюдение за организацией трехдневного визита двух гостей, филологов из Элисты, один из которых приехал пригласить абитуриентов в Калмыцкий государственный университет, другой — за сбором образцов калмыцкой речи. Чельпекская управа организовала им встречи с выпускниками школ, с пожилыми жителями, помнящими калмыцкий язык, угощения и поездки в горы и на озеро. Алымбаева не могла попасть на ряд встреч и переживала, что нечто интересное для ее работы проходит мимо. Представитель сельсовета, отвечавший за организацию визита, пару раз обещал брать ее на встречи, которые происходили вне села, и «забывал», что, вероятно, так и было на самом деле. Затем, полушутя, он объяснил Алымбаевой это тем, что она — киргизка и они имели опасения, что она может написать что-нибудь такое, что повлечет неприятности для них.

Спустя год Алымбаева смогла увидеть историю со стороны. Работа в поле была не легка, но все же она была более или менее независима от влияния внешних сил — некой вариации государства, если рассматривать сельсовет как местного вы-

разителя государства. Если бы Алымбаева «входила» в поле через местный совет, возможно, ей бы быстрее удалось получить доступ к тому, что считается здесь калмакским / сарт-калмакским. Но, по большому счету, ей бы позволили видеть и слышать «принятую версию», т.е. некую постановку, спектакль. На самом деле, Чельпек достаточно часто посещаем внешними гостями, журналистами как местного разлива, так и из монголоязычного мира (Калмыкии, Бурятии, Монголии). Все приезжают в поисках «калмакскости» (в том числе и Алымбаева).

Внешние гости приезжают на короткие сроки и связываются через сельсовет, который их и встречает. Поэтому сложился некий маршрут: собрание с жителями, помнящими калмыцкий язык, и посещения тех домов, где живут совсем старые жители, которые должны помнить времена, когда «кыргызскости» было меньше. Потом журналисты или социологи дают интервью и пишут статьи о калмыках Кыргызстана (например, [Лиджиев 2008; Нанзатов, Содномпилова 2012]).

Алымбаевой удалось войти в поле вне сельсовета и его влияния, через местного энтузиаста Бектура Мансурова. Поэтому ей понадобилось больше времени, чтобы найти нужных людей, пока Бектур был занят своими повседневными заботами.

С одной стороны, за то долгое время, пока Алымбаева встречалась с людьми и завязывала с ними отношения, они привыкли к ней и допустили ее в свою повседневную жизнь. Даже то, что ее тогда иногда «забывали», говорило о том, что ее приняли и воспринимали как часть села.

С другой стороны, к тому времени люди поняли, что она у них ищет, и могли говорить ей то, что, по их мнению, ей было нужно. Это одно из важных измерений полевой работы: когда мы занимаемся исследованием или просто присутствуем в поле, вторгаемся в жизни людей, а они формируют свое собственное мнение о том, что мы ищем.

Эта история иллюстрирует диалектические отношения между позициями антрополога «местного» и «внешнего». В социальной структуре Чельпека, считаемого калмакским сообществом, где все говорят по-киргизски, а обычаи и образ жизни практически такие же, как у киргизов, Алымбаева была киргизской женщиной и исследователем, который изучает почти свою собственную культуру. Но это «почти» делало ее в Чельпеке «не местной», если не сказать «чужой». Это «почти» обитает в нарративах о калмакских корнях, в дискурсе об отличительных чертах «калмака», во все еще сохраняющемся знании калмыцкого языка.

Вместо заключения

В киргизском обществе Чуйская и Иссык-Кульские долины, где находятся наши исследовательские поля, обычно рассматриваются как относительно либеральные в области возрастных и гендерных, да и национальных отношений, особенно в связи с наибольшим уровнем влияния советской русификации в этих районах. Тем не менее наш опыт полевой работы показал, что здесь возраст и гендер продолжают играть большую роль во многих измерениях жизни. Относительная молодость и статус молодой киргизской невестки могут преобладать в восприятии информантами исследовательницы и соответственно влиять на ход ее исследования, особенно если оно фокусируется на каких-либо проблемах родственных и патронажных отношений. Поле и существующее соотношение власти и гендера в повседневности может вытеснять исследователя за рамки «серьезных» обсуждений вопросов политики и патронажа.

Рефлексия о таком соотношении сил привела Исмаилбекову к тому, что ей пришлось наблюдать за мужчинами, их способами решения проблем. Информанты могут пытаться манипулировать нами в достижении своих целей в местных отношениях власти, апеллируя к степени образованности. Это служит примером того, что и «местными» антропологами могут пытаться пользоваться как «талисманами» (см. о “mascot researcher” в: [Adams 1999]).

Не всегда возраст определяет отношение к исследовательнице, хотя в киргизском (и в целом центральноазиатском) обществе люди всегда найдут точки, к которым можно «придаться» (возраст ребенка, его единственность, в то время как у ровесников исследовательницы могут быть многочисленные дети-подростки). Но существеннее то, что фокус исследования нередко может ставить исследовательницу и ее информантов в разные позиции в отношении друг к другу. Ее национальность может становиться одним из основных предметов интереса информантов. Этот интерес вместе с навязываемыми ролями и ожиданиями в результате рефлексивного анализа могут показать продолжающиеся процессы в рассматриваемом обществе, такие как сомнения в происхождении и, значит, в легитимности отнесения себя к тем или иным этническим категориям.

Нам хочется утверждать на основании приведенных примеров «изнутри Центральной Азии», что саморефлексия как форма письма может быть эффективным методом производства знания как способа преодоления и дихотомии между «своим» и «пришлым» исследователем, и фиксированного регионализ-

ма в подходах к исследованиям. Тем не менее надо признать, что поле может диктовать свои правила, которым приходится подчиняться.

Промежуточное положение между «местным» и «приезжим» — одна сторона гибридности, о которой пишет Нараян — в некоторых ситуациях становится проблематичным в поле. Мы, особенно женщины, несмотря на наши «западные» дипломы и познания, воспринимались в кыргызстанском поле в первую очередь как киргизские женщины и невестки, и к нам предъявлялись требования в соответствии с этими ролями, в которые нас постоянно «возвращали» без слов.

Но рефлексия об этих требованиях и безмолвные напоминания позволили нам понять и самих себя, и изучаемую культуру.

Библиография

- Абашии С.Н.* Размышления о «Центральной Азии в составе Российской империи» // *Ab Imperio*. 2008. № 4. С. 456–471.
- Алымбаева А.А.* Между «сартом» и «калмаком»: Политика идентичности в Кыргызстане // *Этнографическое обозрение*. 2014. № 4. С. 45–55.
- Бурдуков А.* Каракольские калмыки (сарт-калмаки) // *Советская этнография*. 1935. № 6. С. 47–78.
- Жуковская Н.Л.* Иссык-Кульские калмаки (сарт-калмаки) // *Этнографические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана*. М.: Наука, 1980. С. 157–166.
- Лиджиев Д.* Калмыки Киргизии. 2008. <http://www.bumbinorn.ru/hamagmongol/1165134345-kalmyki_kirgizii_48654.html>.
- Нанзатов Б., Содномпилова М.* Каракольские сарт-калмаки: Полевые очерки // *Tartaria Magna*. 2012. № 2. С. 128–151.
- Adams L.L.* The Mascot Researcher: Identity, Power, and Knowledge in Fieldwork // *Journal of Contemporary Ethnography*. 1999, August. Vol. 28. No. 4. P. 331–363.
- Campbell J.K.* Honour, Family and Patronage. A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community. N.Y.: Oxford Univ. Press, 1974. 393 p.
- Cohen A.* Two-Dimensional Man: An Essay on the Anthropology of Power and Symbolism in Complex Society. L.: Routledge & Kegan Paul, 1974. 156 p.
- Ismailbekova A.* Blood Ties and the Native Son: The Poetics of Patronage in Kyrgyzstan. Bloomington, IN: Indiana University Press, forthcoming.
- Jacobs-Huey L.* The Natives Are Gazing and Talking Back: Reviewing the Problematics of Positionality, Voice, and Accountability among “Native” Anthropologists // *American Anthropologist*. New Series. 2002, Sept. Vol. 104. No. 3. P. 791–804.

Mielke K., Hornidge A.-K. Crossroads Studies: From Spatial Containers to Interactions in Differentiated Spatialities // Crossroads Asia Working Paper Series. 2014. No. 15. P. 1–60.

Narayan K. How Native is a “Native” Anthropologist? // American Anthropologist, New Series. 1993, Sept. Vol. 95. No. 3. P. 671–686.

Пер. англоязычной части Александры Касаткиной

АЛИМА БИСЕНОВА, КУЛЬШАТ МЕДЕУОВА

О проблемах региональных исследований в/по Центральной Азии

Одно из наших «наблюдений» за местными и внешними или, как часто говорят, «международными» исследователями заключается в том, что зарубежные исследователи пишут, как идентичность «конструируют» и «воображают», а местные пишут о том, как ее «ищут».

Возможно, центральноазиатские исследования страдают от двойной колониальности — колониальности по отношению к России и колониальности по отношению к Западу, при том что Запад, так же как и Россия, совершенно не монолитен, там существуют разные школы и разные академические иерархии. Но обе колониальности, и та, что возникла как неизбежный итог нашей истории в составе Российской Империи и Советского Союза, и вторая, которая возникла совсем недавно в постсоветскую эпоху и является итогом процессов неравномерной глобализации — по-разному проявляются и имеют разные модальности и последствия.

Можно сказать, что постколониальность по отношению к России, когда русский язык воспринимается как *lingua franca* центральноазиатского региона, на самом деле и объединяет нас в региональные центральноазиатские исследования. Если раньше русский язык был доминирующим языком академии и теоретического дискурса, то сейчас он, утратив это научное доминирование,

Алима Бисенова (Alima Bissenova)

«Назарбаев университет»,
Астана, Казахстан
abissenova@nu.edu.kz

Кульшат Медеуова (Kulshat Medeuova)

Евразийский национальный
университет
имени Л.Н. Гумилева,
Астана, Казахстан
mkulshat@gmail.com

превратился почти в обязательный язык поля. Большинство антропологов, политологов, историков и социологов, работающих в Центральной Азии, обычно знают русский язык, даже если не знают других региональных языков.

Благодаря этому же языковому фактору ученые, работающие в Синьцзяне или Афганистане, не всегда вписываются в контекст центральноазиатских исследований. Границы бывшего Союза остаются границами академических практик, разделяющих ученых из региона. Хотя, конечно же, имеет смысл, к примеру, ученым Китая (Синьцзяна) и Казахстана или ученым Таджикистана и Афганистана работать вместе над какими-то вопросами.

Знание русского языка часто является огромным плюсом, но оно, будучи помноженным на незнание других региональных языков, может стать и сдерживающим обстоятельством. Например, при изучении истории Казахстана, когда большинство исследований проводится на базе российских источников, мы волей-неволей возвращаемся в лоно «имперской истории», даже если ученые и проводят свои изыскания с антиколониальной или постколониальной точки зрения [Ремнев 2011].

Выступая 10 сентября 2015 г. в «Назарбаев Университете», историк казахско-российских отношений XIX в. Вирджиния Мартин отметила, что всестороннее изучение положения казахской элиты конца XVIII — начала XIX в. требует огромной языковой эрудиции, потому что источники этого периода существуют на калмыцком, китайском, русском, чагатайском / тюркском языках. Но поскольку в источниковедении превалирует русский язык, наше понимание этого периода остается несколько «односторонним». Такое же одностороннее понимание, к сожалению, наблюдается и среди этнографов в изучении современности.

Есть такое негласное разделение в среде этнографов и политологов между языками деревни и города, когда считается, допустим, что казахский или киргизский языки необходимы для изучения деревни и традиционной культуры, а для изучения города или элиты достаточно русского. Но это не так. Огромные пласты в городе окажутся непонятными и неизведанными для тех, кто не понимает языка определенных культурных практик. Повсеместно происходит распространение двуязычных, а иногда и трехязычных практик, как, например, в Казахстане в официальных органах и учебных заведениях.

Что касается нашей колониальности по отношению к Западу, то это прежде всего «колониальность знания» [Tlostanova 2015: 39–40]. Преодолевая советскую академическую тради-

цию с помощью новых практик глобальной науки, мы попадаем в ситуацию, которую Глостанова описывает в статье “Can the Post-Soviet Think?”

В плане колонизации знания советская Центральная Азия попала из «огня да в полымя» в том смысле, что, только освободившись от навязанных советских дискурсов о цивилизации и развитии в рамках теории марксизма-ленинизма, она попала в другой глобальный теоретический фреймворк, где зацикленность на «отсталости» и «феодализме» сменилась зацикленностью на «коррупции», «авторитарном режиме» и «ислаимзме».

Этот дискурс (если упрощать) предполагает такой же колониально-эволюционный подход к развитию общества «с Востока на Запад»: чтобы попасть в современность (на Запад), нужно преодолеть коррупцию, авторитарный режим и исламизм. Эти темы стали настолько превалирующими в центральноазиатских исследованиях, что очень сложно описывать то, что можно было бы назвать «нормальностью». Потому что всегда подразумевается, что всё не нормально.

Даже при исследовании, казалось бы, «нормальных» явлений, например среднего класса в Казахстане, ученый всегда должен сначала ответить на вопросы по «обязательной программе»: «Как же коррупция? Как же вы терпите авторитарный режим? Как же исламизация?»

Мало кто хочет писать об уже существующей «современности» в виде нормальных дорог, развивающейся инфраструктуры, электронных налогов, больше хотят писать о «неработающих лифтах в небоскребах» или каких-то дефектах внутреннего понимания современности: «А зачем вам небоскребы в степи?»

Ради справедливости надо отметить, что этой предвзятостью больше страдают политологи, нежели антропологи. Антропологи все-таки пытаются как-то бороться с такой предзаданностью.

Интересно, что местные исследователи сознательно отказываются от таких «экзотичных» тем, как кража невест и ритуальная жизнь, и выбирают кейсы, которые символизируют казахстанскую «современность», например городская антропология и социология модернизации у С. Есеновой и А. Забировой, рынок искусства у Ж. Наурызбаевой, финансовые рынки у А. Бегим, нетвокинг в среде НПО у А. Родионова.

Несмотря на проблемы «двойной колониальности», хочется отметить, что открытие Центральной Азии для западных исследователей стало огромным плюсом и импульсом для новых работ и новых тем для ученых как в Центральной Азии, так и за

ее пределами. Как правильно отметила Мадлен Ривз в своей оценке «состояния поля» [Ривз 2014], англоязычные центральноазиатские исследования переживают бум в хорошем смысле этого слова: включение в антропологию и этнографию самых разнообразных так называемых «современных» тем (в отличие от «экзотичных»), многочисленные обмены и сотрудничество, публикации как зарубежных, так и местных ученых (хотя зарубежных все-таки больше, чем местных), постепенное приобщение к сравнительным и глобальным теоретическим дискуссиям за пределами региона.

Но с точки зрения колониальности Центральной Азии как субъекта исследований нам все-таки кажется, что «стакан более пуст, чем полон». Центральноазиатские исследования продолжают развиваться в ситуации властной (с точки зрения парадигмы «власть-знание») и эпистемологической асимметрии. Многие молодые исследователи едут «на Запад изучать Восток». А та часть, которая «осталась» в рамках своих старых (советских) академических практик и продолжает использовать русский язык как язык теоретического дискурса, переживает академическую маргинализацию. Сужается пространство для апробации исследований, теряется социальный статус образования, полученного на русском языке, снижается цитируемость работ, написанных на русском и региональных языках.

Колониальность выражается еще и в презумпции, что все сообщества и страны Центральной Азии должны быть «открыты» для зарубежных исследований, что бы они ни пожелали исследовать. Т.е. предполагается, что люди в Центральной Азии всегда готовы стать объектом. Но если люди не хотят быть «объективированными», то это может восприниматься как нарушение режима «академической свободы».

Например, имамы в Казахстане отказались говорить с западной исследовательницей, изучающей отношения между государством и религией. Она обратилась в «Назарбаев Университет» за институциональной поддержкой. Мы понимаем фрустрацию коллег, когда отказывают в доступе, и мы как дружественная исследовательская структура вынуждены выступать в качестве посредников для поддержки наших зарубежных коллег. Но давайте представим зеркальную ситуацию: допустим, исследовательница из Евразийского университета или из «Назарбаев Университета» приехала на грант Министерства образования и науки Республики Казахстан изучать отношения между Англиканской церковью и государством, имея разрешение только своего университета в Казахстане, сильный акцент, не будучи специалистом в теологических вопросах

«местной церкви», но настаивая на своих «правах» исследователя.

Мы знаем, что это сложно, но мы должны представить такую «дестабилизацию устоявшихся отношений субъекта и объекта» [Tlostanova 2015: 40] и понять, что появление на горизонте тех, кто хочет тебя исследовать, может быть подозрительным и неприятным вне зависимости от режима политических свобод в твоём государстве.

Отказ от интервью, от контакта с исследователем прописаны как право субъекта во многих IRB (Institutional Review Board), но у нас такой отказ будет ассоциироваться с авторитарностью режима, закрытостью и «особым» менталитетом.

Если антропологию понимать как проект, предполагающий честность по отношению к респондентам и по отношению к самому себе, то следует ответить на следующие вопросы. Что даст ваше исследование респондентам; будет ли оно им полезно; как оно отразится на их сообществе и, более глобально и, возможно, более пафосно, что даст ваше исследование человечеству и науке, кроме продвижения ваших личных исследовательских интересов и карьеры?

Мы много говорим о глобализации знания и сотрудничестве в производстве знания, часто забывая, какое это неравноправное сотрудничество. Кто-то, возможно, подумает, что мы говорим с позиции постколониального национализма, так как мы являемся частью национальных проектов, пытающихся ревитализировать свои социальные науки, чтобы они стали частью глобальной науки.

Но мы знаем, что многие коллеги из западных стран, оказавшиеся в институтах и университетах на условных «перифериях», тоже имели подобный опыт «неравноправного» сотрудничества. И если региональные исследования Центральной Азии переживают сейчас этап саморефлексии, то наши вопросы также имеют право быть заданными.

Библиография

- Ремнев А.* Колониальность, постколониальность и «историческая политика» в современном Казахстане // *Ab imperio*. 2011. № 1. С. 169–205.
- Ривз М.* Антропология Средней Азии через десять лет после «состояния поля»: стакан наполовину полон или наполовину пуст? // *Антропологический форум*. 2014. № 7. С. 61–66.
- Tlostanova M.* Can the Post-Soviet Think? On Coloniality of Knowledge. External Imperial and Double Colonial Difference // *Intersections. East European Journal of Society and Politics*. 2015. No. 1 (2). P. 38–58.

СВЕТЛАНА ГОРШЕНИНА

**«Средняя / Центральная Азия»:
не более чем «этикетка» для сложного
историко-культурного региона
с меняющимися границами**

Ощущение того, что терминологическая путаница в наименовании *центрально-* или *среднеазиатского* региона и невозможность «научно» определить его границы мешает признанию результатов научных исследований этого ареала, родилось не вчера и не является производной постсоветской пространственно-политической дезинтеграции. Однако во многих современных публикациях — и не только по антропологии / этнографии — терминологические размышления ограничиваются краткими и, как правило, с серьезными лакунами обзорами тенденций последних трех десятилетий. Несмотря на это, история концептуального осмысления региона, его наименования и определения его границ восходит к XVIII в.¹ Именно тогда научное сообщество впервые отчетливо почувствовало неловкость от использования в качестве обобщающего термина наименования *Татария* / *Тартария* для всего региона, простиравшегося от Астрахани до Дальнего Востока и от Урала до Персии.

Отказываясь от картографических репрезентаций Птолемея и отталкиваясь от критических размышлений Клода Висделу (Claude Vissdelou), Петра Палласа и Иакинфа Бичурина, российские и западные исследователи — в первую очередь географы и путешественники — формулируют и новые критерии определения региона как некоего единого целого в рамках определенных, «научно обоснованных» границ и его

Светлана Горшенина
(Svetlana Gorshenina)
Университет Лозанны,
Швейцария
sgorshen@gmail.com

¹ Из соображений экономии я не даю ссылок на анализируемые работы, предлагая желающим обратиться для более детального анализа к моей книге, специально посвященной истории кристаллизации многочисленных концептов, от *Тартарии* до *Средней / Центральной Азии*, описывающих интересующий нас регион в «долгом времени», с античности до наших дней: [Gorshenina 2014].

возможные новые наименования. Процесс образования национальных государств, структурно опирающихся на концепцию границы-линии и оперирующих понятиями «этническое единство» и «сферы влияния», начинает определять интеллектуально-политический контекст, требующий пересмотра прежних репрезентативных и номинативных схем.

Отказываясь от этнической, с явным уничижительным оттенком, *татарской / тартарской* дефиниции региона, исследователи старались также избегать возведения в обобщающие термины существующих политико-этнических наименований многочисленных составляющих этого обширного географического ареала, восходящих как к арабо-тюркско-персидской, так и к европейской традиции (*Бухария, Кокандия, Хорезмия, страна Туркмен / Тюркоманов, Трансоксиана, Ташкентия, Туркестан, Туран, степь*). С их точки зрения, сформированной под влиянием рационализма и идей Просвещения, предпочтение следует отдавать рациональным геометрическо-пространственным критериям. Практически одновременно в нескольких независимых друг от друга публикациях XVIII в. (François de Tott, Pierre-François Tardieu, Nicolas Lenglet du Fresnoy, Claude Malte-Brun) начинает формироваться идея центричности региона, которая впоследствии приведет к сакрализации некоего абстрактного «центра континента». Вслед за определением Филиппа Назарова «Средняя часть Азии» (1813–1821) и картографической фиксацией «части Средней Азии» Панснера (1816) российские путешественники и географы Николай Муравьев, Алексей Левшин и особенно Егор Мейендорф вводят в оборот в 1820–1830-е гг. новый термин — «Средняя Азия», а вместе с ним открывают и новый виток дискуссий о том, где проводить его границы. Эта волна рассуждений никак не связана ни с термином Марко Поло *“Asya Media”*, ни со средневековой картографической традицией, сакрализировавшей центр мира и библейскую историю, ни с маргинальным упоминанием Федором Скрябиным «Средней Азии» в контексте его путешествия 1697 г. в город Туркестан.

Трансфер термина в Западную Европу происходит между 1823 и 1826 гг. благодаря переводческой деятельности Юлиуса Клапрота. Используя термин *“Asie centrale”*, ученый дает в своих публикациях противоречивые географические лимиты региона, располагаемого приблизительно между 62° и 119° широты и между 27° и 52° долготы.

Возможно, именно из-за невнятности многочисленных дефиниций Клапрота «научное определение» региона для многих современных исследователей остается связанным с именем

Александра Гумбольдта и его трудом “*Asie centrale. Recherches sur les chaînes de montagnes et la climatologie comparée*” (1843).

После своего путешествия в Россию в 1829 г. Гумбольдт отказывается от ранее использованных им наименований региона, таких как “*Asie intérieure*”, “*partie moyenne et intérieure de l’Asie*”, “*Asie occidentale*”, “*Inner Asia*”, “*Haute Asie*”. Вдохновленный работами своих предшественников и современников по ботанике, зоологии и географии и под сильным влиянием позитивистской философии Канта, Гумбольдт выстраивает свое видение региона на основе теорий вулканического характера земной поверхности, параллельности горных хребтов и контрастности геологического рельефа горных плато и низменностей. Полностью игнорируя локальную географическую традицию, он терминологически определяет регион французским топонимом “*Asie centrale*”, переведенным через год на немецкий язык как “*Central-Asien*”. Новая гумбольдтовская конструкция прилагается исключительно к «высокогорным плато» (“*terres hautes*”), из которых Туранская низменность (“*terres basses*”) исключена по определению. Подчеркивая предшествующие терминологические проблемы, а также условность и ограниченность избранного им термина, Гумбольдт с первых страниц оговаривается, что за произвольным использованием терминов “*Asie centrale*” и “*Haute Asie*” скрывается масса бессмысленных синонимов, призванных обозначать «центральные, неизвестные или расположенные в глубине континента регионы».

Несмотря на критику Василия Бартольда, считавшего, что все усилия Гумбольдта надо расценивать лишь как завершение большого периода, а не как открытие нового, российская наука с энтузиазмом приветствовала появление книги немецкого ученого, не обратив внимания на внутренние противоречия гумбольдтовских определений. Однако в восторженных рецензиях при переводе названия книги Гумбольдта термины «*Средняя*» и «*Центральная*» Азия выступают как взаимозаменяемые, вне какой-либо специфической логики, синонимы. Более того, в российской науке, несмотря на подчеркивание уважения к немецкому географу, все прочнее утверждается более глобальное в географическом масштабе предыдущее определение «*Средней Азии*» Клапрота, игнорирующее принцип противопоставления высокогорных областей и низменностей и отдающее предпочтение суммарному определению «внутренних континентальных земель». Вслед за Иакинфом Бичуриным (1851) и Василием Васильевым (1852), однако расходясь с ними в деталях по поводу Кавказа и дальневосточных регионов, Николай Ханыков, отталкиваясь от идеи геометрического центра, дает свое, также «строго научное», определение региона (1861).

По его убеждению, «правильную» конфигурацию региона можно получить, объединив единой линией истоки всех евроазиатских рек — от Евфрата и Волги до Ганга и Желтой реки. Полученная внутри этого обширного периметра фигура «внутренних земель» и будет наилучшей конфигурацией «*Средней Азии*», объединяющей как «высокогорные земли», так и «низменности» Гумбольдта.

С этим широким определением солидаризируются позже географы Иван Мушкетов и Лев Берг. Европейское же научное сообщество, и в первую очередь немецкие исследователи, не принимают этого «русского» определения, за которым угадывались геополитические проекты Российской империи. Фердинанд фон Рихтгофен, находясь под сильным влиянием Карла Риттера и Александра Гумбольдта и признавая, что «Средняя Азия уже осуществила несколько путешествий по картам Азии», предложил в 1877 г. на основе гидро- и геологических характеристик разделить «*Внутреннюю Азию*» на несколько частей:

- «центральную зону», где нет стока вод в мировой океан и где элементы геологического распада остаются на поверхности земли;
- «транзитную зону»;
- открытую в океан «периферийную зону»;
- «зону континентального бордюра».

В этой схеме наименование «*Центральная Азия*» было оставлено исключительно для высохшего древнего моря Хан-Хай, откуда нет стока воды в мировой океан и которое ранее было обозначено Гумбольдтом как два региона — «*Центральная Азия*» и «*Гималаи*». Для российских же владений Рихтгофен предложил оставить термин «*Средняя Азия*», подчеркнув при этом, что последняя не входит в состав «*Центральной Азии*».

Несмотря на признание «научности» доказательств Рихтгофена, определения *Средней / Центральной Азии* в многочисленных западных энциклопедиях рубежа XIX–XX вв. продолжали быть чрезвычайно хаотичными.

Новый смысл в эти размышления привносит политическая география, а позже и геополитика. С подачи Элизея Реклю (1894) и особенно Хэлфорда Маккиндера (1904), открывается новая серия интеллектуальных манипуляций по поводу метафизической «центральности» региона. Созвучно контексту «Большой игры» регион определяется как «*сердце континента*» или «*Pivot Area*», владение которым гарантирует власть над всем миром.

При этом научное сообщество еще далеко от того, чтобы признать за *Средней / Центральной Азией*, связанной с великими

степными / кочевническими империями, центральную роль в определенный момент мировой истории — где-то между 1000 и 1500 гг. Центричность в этих построениях рубежа веков ограничивается исключительно географическим расположением региона между умозрительными *Югом* и *Севером* и выборкой естественно-географических усредненных характеристик, столь важных для эпистемологических конструкций естественно-природного детерминизма (географическое прошлое региона, структуры почвы, организация и происхождение горных хребтов, ориентация стока вод, климат, растительность и т.д.). Несмотря на то что отдельные локальные топонимы — такие как «*Туркестан*» или «*Туран*» — используются, и зачастую произвольно, российскими и европейскими географами, подлинный интерес к средне-центрально-азиатской терминологии и ее дефинициям в этих новых конструкциях отсутствует.

В ожидании появления мегатектонических теорий континентального дрейфа, начиная с работ Альфреда Вегенера (1920) и Эмиля Аргана (1922), исследователи продолжают уточнять терминологию. В частности, признавая авторитет немецкой географической школы и принимая на вооружение сконструированные дефиниции, российские географы расширяют границы «*Центральной Азии*» Гумбольдта и Рихтгофена, вводя в их периметр весь «*Туран*». Иван Мушкетов предложил в 1886 г. лингвистически определять регион, выделенный Рихтгофеном, как «*Центральную Азию*», а более глобальный ареал, совпадающий в основных чертах с лимитами, очерченными Ханыковым, как «*Среднюю*» или «*Внутреннюю Азию*».

Несмотря на многочисленные попытки уточнений, соотношение «*Средней*» и «*Центральной Азии*» в плане картографической наполненности терминов и их субординации остается по-прежнему нестабильным. Российские географы, такие как Петр Семенов-Тянь-Шанский, Василий Семенов-Тянь-Шанский, Владимир Масальский и Иван Мушкетов, предпочитая административную терминологию (*Степное генерал-губернаторство*, *Туркестанское генерал-губернаторство*, *Бухарский эмират*), довольно редко прибегают к использованию обобщающего термина «*Средняя Азия*»; «*Центральная Азия*» же еще реже появляется в публикациях; при этом оба термина очень близки по значению к обобщающему топониму «*Туркестан*», который включает в себя «*Русский, Афганский и Китайский Туркестан(ы)*». «*Средняя*» и «*Центральная Азия*» воспринимаются скорее как синонимы, легко соотносимые с «*Внутренней Азией*» (1880–1890-е гг.).

Однако последовательное военное утверждение России на территориях туркестанских ханств приводит к иной кристаллиза-

ции терминологии, напрямую связанной с установлением границ Российской империи в Азии и правовым разделением сфер политического влияния между Россией и Великобританией, завершившимся к 1895 г., а позднее — между Россией и Китаем (1915). Новая субординация топонимов устанавливается в фарватере идей славянофилов и панславистов, таких как Ростислав Фадеев, Николай Данилевский и Владимир Ламанский, которые определяют Россию как «*Срединный мир*» или «*Третий континент*», главенствующий над периферийными Европой и Азией. Исходя из «естественности» и «органичности» новоявленной «*Евразии*», российские мыслители представляют завоеванные российской армией туркестанские территории как ее «естественное продолжение», составляющее с Российской империей «неделимое целое». Эта «естественная часть единого целого» может быть названа не иначе как «*Средняя Азия*», фонетически отражающая «*Срединный мир*». Более того, увлекшись «срединными» проекциями, исследователи этой волны фиксируют центр всего азиатского континента на «русских землях» — т.е. «у себя» — в районе Кульджи или Памирских гор. Термин «*Центральная Азия*» остается зарезервированным за прилегающими к российским колониальным владениям территориями (Иран, Турция, Афганистан, Китайский Туркестан, Монголия); эти последние формируют обширные пространства, потенциально пригодные для прогрессивного российского завоевания. При этом составляющие этого «южного полумесяца» могли меняться в зависимости от политической ситуации и амбиций России: Иран или Турция могли исчезать из суммы обязательных компонентов «*Центральной Азии*» в прямой зависимости от политической конъюнктуры, однако любое изменение находило свое подтверждение в натуралистической аргументации границ, константно «естественных». Эластичность термина проявлялась и в том, что он мог, растягиваясь к северу, включать в свой внутренний периметр и всю «*Среднюю Азию*».

Более поздние евразийские теории Петра Савицкого (1920–1930-е гг.) значительно усилили наукообразную аргументацию вычленения из нейтрального континуума «центрального» региона. Ядро последнего, очерченное многочисленными изолиниями средних показателей климата, почвы, растительности, температуры и т.д., совпадало с «прямоугольником степей», «монголосферой», «тремя опорными точками месторазвития русского народа или Срединного мира» и «сердцем континента».

Другая важная терминологическая битва этого времени заключалась в необходимости закрепить за российской колонией термин «*Туркестан*», снабдив его эпитетом политико-государственной коннотации «*Русский*» в надежде объединить вскоре

эту составляющую с «Афганским Туркестаном» и «Китайским Туркестаном» для получения просто глобального «Туркестана» под российской властью. Ближайшим синонимом этого топонима становится «Туран», который также получает к концу XIX в. позитивную коннотацию в контексте двусмысленных арийско-туранских теорий, призванных легитимизировать российское присутствие на завоеванных землях. Изначально локальные термины, будучи включенными в европоцентричную систему организации геополитического пространства, эти два топонима по сути перестали отражать какой-либо иной, «исконно» *средне-центрально-азиатский* смысл и сравнялись с другими привнесенными извне терминами.

Несмотря на обилие научно-философско-геополитических построений, решающим в становлении концепта «Средней / Центральной Азии» стало национально-политическое размежевание, осуществленное советской властью в 1924–1936 гг. Этот политический акт дал рождение новой серии терминологических манипуляций и путаниц. Выражение «Средняя Азия и Казахстан», где под «Средней Азией» подразумевались новообразованные республики Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Туркменистан, соседствовало отныне со «*среднеазиатским экономическим регионом*», где к четырем вышеназванным республикам добавлялись южные районы Казахстана. Эту последнюю конфигурацию систематически использовали советские гуманитарные науки, упростив ее к 1936 г. до определения «Средняя Азия». В естественных же науках под термином «Средняя Азия» нередко понимали все азиатские структуры Советского Союза, включая в периметр этого топонима весь Казахстан.

Однако процесс очищения советской терминологии и кодификации официального научного языка дал в сталинское время новый виток уточнения терминологии, начавшийся традиционно среди геологов. Дмитрий Мушкетов (1936) и Владимир Обручев (1942) возвращаются к давней идее Рихтгофена и предлагают обозначить термином «Средняя Азия» исключительно советские владения, а термином «Центральная Азия» — частичную сумму «центральной» и «транзитной» зоны немецкого географа, ограничив ее на востоке государственными границами СССР; конфигурация этой «Центральной Азии» продолжает меняться от публикации к публикации.

Параллельно дебатам среди советских ученых в западной науке с 1920-х по 1960-е гг. осуществляется переход от архитектоники «континентов», в соответствии с которой ранее было выстроено все научное знание, к логике «культурных регионов». В ходе этой эпистемологической революции внутренние территории азиатского континента оказываются поделенными

с точки зрения area studies между русским, иранским, тюркским и китайским мирами и... становятся практически невидимыми для научного сообщества и политического истеблишмента. Интерес к *Средней / Центральной Азии* как особому ареалу вновь проявляется в 1980-е гг., а вместе с ним на новом витке терминологических усилий, как показывает чтение многочисленных энциклопедий и словарей 1980–1990-х гг., возрождается и весь предыдущий набор топо- и географических наименований.

Развал Советского Союза и желание независимых республик отказаться от советского наследия привели на первых порах к скороспелым гибридам. Например, отказавшись в пользу определения «*Центральная Азия*» от употребления термина «*Средняя Азия*», связываемого с советским прошлым и засильем Москвы, узбекистанские специалисты, не меняя внутреннего наполнения термина, поспешно издали карты под названием «Центральная Азия и Казахстан» (1994–1998). Другой распространенной конфигурацией стало наименование всех бывших азиатских республик, включая Казахстан, единым термином «*Центральная Азия*», официально и единогласно принятым в 1993 г. на саммите глав новых независимых республик.

Исчезновение «железного занавеса» принесло с собой также уже давно забытые в русскоговорящем советском мире «*Внутреннюю Азию / Inner Asia*» и «*Евразию*», ставших на долгие годы намного популярнее «*Средней Азии*». За этим выбором легко прочитывается сегодня желание независимых республик значимо определить свой новый статус на политической арене. Заявив о своей «центральной роли в азиатском регионе», новые политические лидеры таким образом символически показали намерение отказаться от российской опеки, одновременно пытаясь противопоставить постсоветское азиатское пространство другим крупным геополитическим объединениям, таким как «*Большая Турция*» или «*Большой Китай*».

Первые теракты в Узбекистане в 1999 г. привели к возвращению термина «*Средняя Азия*» для определения всего конгломерата бывших республик, желавших этим терминологическим жестом отграничить себя от стран, находящихся по ту сторону «линии зла» Джорджа Буша, и закрепить за собой место во «Втором» — постсоветском — мире, отмежевываясь таким образом от «Третьего» — развивающегося. С той же целью была активно возрождена и «*Евразия*» — «*большая*», «*центральная*» или «*внутренняя*», — легко взаимозаменяемая с *Inner Asia* и характеризующая все более и более расплывчатыми контурами. Были заново востребованы теории Маккиндера, производной

от которых стала *Eurasia's Heart*. «Центральная Азия» продолжала между тем циркулировать как приближительный синоним любого из вышеперечисленных терминов.

В ситуации перекройки политической карты мира и снятия «железного занавеса» между советской / постсоветской и западными системами научное сообщество вновь оказалось перед терминологической дилеммой. Взывая ко всему богатому терминологическому наследию как минимум двух последних столетий (не говоря уже о наследии античных авторов), авторы публикаций трех последних десятилетий продемонстрировали инерцию в концептуальном переосмыслении структуры пространства и научных полей. Принцип исключения и описания периметра остается основным в определении «Средней / Центральной Азии», на основе которого на сегодняшний день предлагается множество сценариев — от минималистских, лимитирующих «Среднюю Азию» границами одного Узбекистана, до глобальных, раздувающих ее до «Большой Евразии», простирающейся от моря до моря с севера на юг и с востока на запад.

Вместе с тем исследователями были предложены интересные ходы для нового определения пространства, которые должны были быть свободными от естественного детерминизма, принципа «центричности», геополитической заинтересованности национальных государств и транснациональных группировок, а также линейного позитивизма, связанного с европоцентризмом и западным империализмом.

Среди важных результатов этих пространственно-терминологических дискуссий, ставших многоактными начиная с 1983 г., представляется уже сформировавшимся понимание того, что определение региона не зависит ни от его позиции в пространстве, ни от климата, ни от географического рельефа или удаленности от кромки мирового океана. Исследователи достигли согласия и в том, что границы региона не являются ни естественно-географическими, ни метафизическими и что их определение зависит от тех критериев, которые были избраны для конструирования некоего концепта, будь то природно-естественные или социально-культурно-религиозно-этнолингвистическо-политические.

Несмотря на то что многочисленные споры пока не привели к единому результату и что воображаемые критерии по-прежнему руководят дискуссиями, важной отправной точкой для последующих рассуждений являются следующие идеи:

- *средне-центрально-азиатский* регион в первую очередь должен быть определен как «культурно-исторический», а не как «естественно-географический» или «политический»;

- необходимо отказаться от телескопического подхода, предполагающего анализ исторической реальности через призму современной политической карты;
- важно признание видоизменяемости контуров региона на разных исторических этапах;
- необходимо отказаться от «средних» показателей воображаемых индикаторов и строгих умозрительных схем в пользу фокусировки на исторических процессах вкупе с социальными, интеллектуальными и духовными практиками, которые формируют человеческие сообщества;
- определение регионов должно осуществляться не в изоляционистской перспективе на основе исключительно внутренних характеристик, а с учетом взаимодействия с соседними «мирами».

Принятие подобной перспективы приведет к тому, что контуры и содержание *Средней / Центральной Азии* будут постоянно расплывчатыми и видоизменяемыми в зависимости от избранного угла и периода исследования. Вместе с тем константным остается определение *Средней / Центральной Азии* как региона, который, будучи трансконтинентальным перекрестком для нескольких соседствующих «миров» (тюркский, иранский, индийский, китайский, русский), в прошлом был представлен главным образом татаро-монгольской и иранской культурой, определен взаимодействием пасторализма и оазисного земледелия, насыщенным многовекторным культурным переносом и широкой палитрой религиозных верований, с доминантами буддизма и ислама.

Что же до названия этого региона, то, будучи уже отягощенной противоречивым терминологическим наследием, *Средняя / Центральная Азия* не нуждается в изобретении новых терминов, более или менее подкрепленных «научными критериями». Более продуктивной на сегодняшний день представляется идея, что уже существующие термины должны использоваться как своеобразная этикетка, которая в каждом конкретном исследовательском случае может предполагать несколько видоизмененную конфигурацию. Такой осторожный, отнюдь не революционный подход поможет избежать продолжения терминологической эскалации с опорой на уже многократно введенные и отброшенные как неадекватные критерии.

Эта позиция не означает отказа от необходимости утверждать самостоятельную значимость *Средней / Центральной Азии*. Традиционное ассоциирование региона или его отдельных составляющих на уровне структурных иерархий с тюркским, иранским, индийским, тибетским, монгольским, китайским и российским мирами ведет только к его расчленению между этими

«мирами», усиливая маргинальность его позиции в области гуманитарных наук. Поэтому, несмотря на всю «ущербность» и тяжелую наследственность терминологии, мне кажется, что утверждение *Средней / Центральной Азии* в качестве самостоятельного объекта исследований в региональном структурировании научного пространства остается важной задачей для всех заинтересованных специалистов.

Библиография

Gorshenina S. L'invention de l'Asie centrale. Histoire du concept de la Tartarie à l'Eurasie. Genève: Droz, 2014. 704 p. (Collection: Rayon Histoire, no. 4).

ДИАНА ИБАНЬЕЗ-ТИРАДО, МАГНУС МАРСДЕН

Антропологические исследования Центральной Азии в западной науке

В феврале 2013 г. государственный секретарь США Джон Керри произнес речь, в которой восхвалял американских дипломатов, работающих в «Кырзахстане», за их усилия по поддержке демократических институтов. Двумя годами позже, в январе 2015 г., в «Нью-Йорк Таймс» в статье о Томе Колдуэлле, альпинисте, похищенном Исламским движением Узбекистана, появилось государство «Кыргызбекистан». Вскоре издание опубликовало объяснение, что Кыргызбекистан — это «результат недоразумения», и принесла извинения за ошибку. Блогеры и пользователи Твиттера мгновенно отреагировали на оплошность «Нью-Йорк Таймс» и заявили о реальном существовании Кыргызбекистана: они записали и выложили на Youtube национальный гимн, охарактеризовали эту страну как «авторитарную демократию» и опубликовали в сети первый путеводитель по Кыргызбекистану. Другие комментаторы, в том числе писатель Леонид Бершидский, однако, не увидели в этих недоразумениях ничего смешного. Бершидский [Bershidsky 2015] охарактеризовал ошибки такого типа как «проявление нашего удивительного безразличия, даже презрения, к странам, которые кажутся

Диана Ибаньез-Тирадо (Diana Ibañez-Tirado)

Университет Лондона /
Университет Сассекса,
Брайтон, Великобритания
di1@soas.ac.uk

Магнус Марсден (Magnus Marsden)

Университет Сассекса,
Брайтон, Великобритания
m.marsden@sussex.ac.uk

далекими, маленькими или незначительными», подобно так называемым центральноазиатским «станам» (Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан). И эти ошибки, и шуточные реакции на них — признаки того, что, несмотря на растущую, пусть и неравномерную, глобальную мобильность людей и капитала, которая меняет лицо мира, в публичном дискурсе Центральная Азия по-прежнему складывается из пяти «непостижимых» республик бывшего Советского Союза.

В 1990-е гг. Эйкельман [Eickelman 1998] полагал, что обновление дискуссии о региональных исследованиях и их сдвигающихся границах необходимо, в частности, из-за растущего уровня миграции и новых структур экономических взаимодействий между Центральной Азией, Европой и Ближним Востоком. Однако до недавнего времени в академических текстах Центральная Азия рассматривалась как «чрезвычайно ясно выделенный, но малоизученный регион мира» и часто фигурировала как «периферия» социальных явлений, центры которых располагались в других регионах (например, ислама и исламского возрождения на Ближнем Востоке), или как регион, удобный для анализа зарождающегося национализма и так называемого постсоветского «перехода» (“transition”) [Liu 2011: 116]. Сейчас исследователи осваивают критический взгляд на романтическое воображение, которое представляет Центральную Азию то как возвращенную вселенную древнего Великого шелкового пути [Megoran 2004; Marsden 2015a], то как загадочное ориентальное пространство «опасности» [Heathershaw, Megoran 2011], то как всеобъемлющий постсоветский пространственно-временной маркер [Ibañez-Tirado 2015].

В этом тексте мы начнем с того, что проследуем за первыми шагами западной науки о Центральной Азии, понятой как регион, складывавшийся прежде всего вокруг «ядра» пяти советских / постсоветских стран. Потом покажем, как западные антропологи, изучающие Центральную Азию, стремятся выйти за пределы географий, установленных границами национальных государств, чтобы продуктивно учитывать другие, исторические и современные, географии, темпоральности и мобильности, которые позволяют выявить трансрегиональную множественность, существующие и потенциальные связи и разнородность. В заключение мы поговорим о политике производства знания в отношении к региональным исследованиям и о роли исследований Центральной Азии в этих дискуссиях.

Предложенный фокус и объем реплики «Форума» вынуждают нас ограничиться обзором только антропологических работ, опубликованных на Западе. Однако мы признаем, что это

несправедливо по отношению ко всем тем блестящим ученым, которые проводят антропологические и междисциплинарные исследования в Центральной Азии в других частях света.

В западном академическом мире научное знание о центральноазиатском регионе стабильно производится на протяжении всего XX в. [Myer 2002]. Как замечает Митчел [Mitchell 2003], именно после Второй мировой войны региональные исследования получили четкую связь с геополитическими повестками и стратегическим финансированием. Советская Азия привлекала внимание тех ученых, которые рассматривали Советский Союз в качестве возможного агента радикальных перемен на Ближнем Востоке [Myer 2002]. Во второй половине XX в. на Западе в центре академических дискуссий о Центральной Азии оказалась «колониальность» (см.: [Stahl 1951; Cole, Kandiyoti 2002; Kandiyoti, Azimova 2004; Khalid 2007b; Chari, Verdery 2009; Morrison 2009; Kalinovsky 2013; Mostowlansky 2014a]). Изучались и так называемые «антиколониальные» движения Центральной Азии: восстания басмачей [Caroe 1953] и антисоветские движения джадидов [Wheeler 1960; Khalid 1998; Abashin 2012].

Кроме того, для исследований Советской Азии было характерно внимание к мусульманскому населению и исламу [Myer 2002]. Исследователи интересовались тем, как исламу удалось «выжить» в коммунистической системе. Для описания официальных форм религии вошел в употребление термин «советский ислам» (например: [Carrère d'Encausse 1974; Bennigsen, Wimbush 1985]). Дебаты о том, как получилось, что во времена коммунизма исламские практики начали пониматься как «традиция», сыграли значительную роль в более поздних исследованиях постсоветского ислама (например, [Khalid 2007a]), а также в дискуссиях о радикальном исламе и причинах его возникновения в Центральной Азии [Naumkin 2005; Rashid 2002]. Дискуссии о природе ислама в Центральной Азии нередко сливались с дебатами об этничности и национальной идентичности [Gross 1992; Roy 2000].

Важной чертой исследований Центральной Азии и по сей день остается интерес к национализму, этничности и идентичности — центральным темам советского и постсоветского политических проектов [Schatz 2002; Ilkhamov 2004; Hirsch 2005; Bergne 2006; Collins 2006] (ср.: [Gulette 2010; Kudaibergenova 2015]). На этом интеллектуальном фоне и начались долгосрочные полевые антропологические проекты в постсоветской Центральной Азии, участники которых принимали во внимание не только «официальные» и «неофициальные» формы ислама, сдвиги структур власти, сконструированные идентич-

ности и нации и четко разграниченные этничности, но и истории жизни и опыт населения Центральной Азии, его повседневные встречи с этими процессами и категориями анализа.

Ключевым вкладом новых антропологических работ стала демонстрация сложности, деятельной активности (agency) и креативности повседневной жизни в Центральной Азии. Так, авторы статей сборника «Повседневная жизнь в Центральной Азии» [Sahadeo, Zanca 2009] показывают, как в повседневных практиках множества разных людей, населяющих Центральную Азию, по-разному понимаются и проживаются такие очевидные понятия, как ислам, коммунизм, культура и идентичность. Линию интереса к повседневному опыту продолжают Ривз, Расанаягам и Байер. Их сборник «Этнографии государства в Центральной Азии» [Reeves, Rasanayagam, Beyer 2014] объединяет антропологические тексты, анализирующие природу государства в Центральной Азии из перспективы локализованных этнографий, которые исследуют, как политика исполняется (performed), осуществляется (practiced), приводится в действие (invoked) и проживается (experienced).

Недавно увидели свет несколько полноценных этнографических монографий, посвященных исламу в Центральной Азии и основанных на продолжительной антропологической полевой работе в Узбекистане. Критически воспринимая существующие в литературе представления о том, что советский ислам в Центральной Азии был периферийным, неортодоксальным, официальным и с трудом пережил 70 лет секуляризации, Лоу [Louw 2007] исследует, как жители Бухары понимали, что значит быть мусульманином и узбеком, как они осуществляли это на практике.

Расанаягам в своей книге [Rasanayagam 2010] о Ферганской долине заостряет внимание на постоянно растущем страхе репрессий, в котором жили мусульмане в Узбекистане, и их креативности в этой ситуации. Автор критикует изучение ислама как глобальной обьективированной категории анализа, относительно которой измеряется разнообразие или ортодоксальность тех или иных практик, и обращается к повседневному опыту как к основе для мусульманских моральных суждений и субъективности. Адамс [Adams 2010] анализирует, как при помощи строго контролируемых массовых зрелищ и концертов в Узбекистане производится национальная культура. Как уже отмечала Ривз [Ривз 2014], в Узбекистане рост идеологического контроля и надзора за публичной сферой создает сложности для исследователей, которые хотят работать в этой стране. В Туркмении независимая и долгосрочная полевая работа по этим же причинам практически невозможна.

В отличие от Узбекистана, Таджикистан открылся для полевой работы, как только утихла бури гражданской войны (1992–1997) и правительство начало поддерживать усиление государственных институтов на основе дискурсов о восстановлении мирной жизни [Heathershaw 2009]. За первой работой Харрис о гендере, контроле и сексуальности в Таджикистане [Harris 2004] последовала ее книга о мусульманской молодежи в Душанбе [Harris 2005], где ставится вопрос о том, представляют ли молодые люди угрозу для послевоенной стабильности Таджикистана. Дискуссию о таджикостанской молодежи подхватила Рош [Roche 2014], предложив говорить об этой социальной группе не просто как о потенциальном источнике риска и нестабильности, но и как о создателях позитивной социальной и политической динамики. Рош [Roche 2012] анализирует также послевоенные коллективные практики памяти, организуемые правительством Таджикистана, и их влияние на гендер у деревенских женщин Каратегинской долины. Обращаясь к темам маскулинности, памяти о войне и посткосмополитизма, Марсден [Marsden 2012a] работал с мигрантами Памира, которые перебрались из родных деревень в Душанбе и Худжанд, и исследовал их способы взаимодействия с представителями других, непамирских, групп — их бывшими противниками во время войны.

На материалах своей полевой работы в Кулябе (юг Таджикистана), Ибаньез-Тирадо [Ibañez-Tirado 2015] анализирует различия в способах рассказывать истории жизни у мужчин и женщин разных поколений. Таким образом, под вопросом оказывается пригодность категории «постсоветское» для локализации «альтернативных темпоральностей», которые являются частью опыта жителей Куляба и Центральной Азии в целом.

В последние годы западные и местные исследователи серьезно продвинулись и в изучении таджикостанского Памира (о работах вторых подробнее рассказывается ниже). Мостовланский пишет о Восточном Памире и о том, как новая памирская магистраль, ведущая из Таджикистана в Китай, влияет на мобильность людей и предметов в регионе [Mostowlansky 2014b].

В Казахстане антропологи изучают насилие над женщинами, показывая, к примеру, как на уровне репрезентаций домашнее насилие интегрируется в культурную политику и примордиальные идеи этничности [Snajder 2005; 2007]. Вернер [Werner 2009] тоже исследует насилие над женщинами в форме «похищения невесты» — практики, которая была запрещена в советский период, но сейчас часто интерпретируется как «традиционная».

Другое течение в антропологической литературе о Казахстане фокусируется на материальности, городах и архитектуре. С конца 1990-х гг. выраженной чертой развития новой столицы Казахстана Астаны стали большие архитектурные проекты. Бачли [Buchli 2007; 2013] показывает, как, несмотря на усилия, которые прилагает правительство, чтобы сделать Астану образцом городского планирования, упадок старых и недавно построенных зданий становится материализацией протеста жителей города. Лашковский [Laszczkowski 2011; 2014] изучает, как городские ландшафты Астаны напитываются повседневным опытом горожан и как архитектура и рутинные практики жителей Астаны вместе работают на создание специфической «эстетики будущего». Проведя связи между прошлым и мечтами о будущей гармонии, Александер [Alexander 2007] на материалах, собранных в бывшей столице Казахстана, исследует отношения между рациональным городским планированием и случайностью в формировании советской и постсоветской Алма-Аты, а также столкновения локальных представлений о гармонии и неудавшихся проектов городского планирования.

Исследователи, работающие в Кыргызстане, сделали особенно заметный вклад в теории места, пространства и ландшафта и их отношений с мобильностью. Книга Мадлен Ривз «Как работает граница» [Reeves 2014] — это подробная этнография Ферганской долины, где встречаются границы Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Автор исследует деятельность жителей этого региона по «производству» государства и его границ вопреки усилиям правительств, направленным на разметку и разделение территорий, патрулирование и укрепление контрольных пунктов. Работая в похожей по сложности зоне у границы Узбекистана, Лю [Liu 2012] написал детальную этнографию Оша. Он проанализировал телесные (embodied) практики и опыт узбекских сообществ этого города, где в последние десятилетия случались серьезные вспышки насилия среди групп, идентифицирующих себя как киргизов и узбеков. Байер в серии статей пишет о судах старейшин в сельском и городском Кыргызстане [Beyer 2015] и обнаруживает тесную связь устных генеалогических рассказов, хранящихся в памяти старейшин, и местных генеалогических книг с ландшафтом Таласа в северо-западном Кыргызстане [Beyer 2011]. Фэо Делакура на материалах полевой работы, проведенной в Токтогульской долине, исследует контрастирующие метафоры стоячей воды в резервуаре, сформированном Токтогульской дамбой, и текучей воды в реке у работающей плотины, на горных пастбищах и в священных местах [Féaux de la Croix 2011]. А недавно она опубликовала статью

о том, как ее информанты видят будущее в связи с приватизацией водных ресурсов и перспективами строительства других плотин в этом регионе [2014].

В фокусе интереса еще одного направления исследований Кыргызстана — изменяющееся представление о том, что значит быть мусульманином [McBrien 2006; 2009]. Наконец, разрабатываются новые подходы к изучению миграций в кыргызстанском контексте. Ривз провела масштабное исследование мужской миграции в Россию [Reeves 2013] и продемонстрировала ее влияние на мобильность женщин [Reeves 2011], в то время как Исабаева пишет о социальности пожилых людей и детей, которые не вовлечены в миграцию [Isabaeva 2011].

Несколько десятилетий исследователи Центральной Азии сосредоточивались на концептуальном единстве национального государства и интересовались только наследием советского проекта. Релевантность постановки вопросов на этих основаниях обосновывалась исключительностью и специфическими чертами советских / постсоветских явлений в Азии. В результате создаваемая в этом поле литература развивалась в относительном отрыве от более масштабных и компаративных проектов, охватывающих Азию и Ближний Восток. Какое-то время назад антропологи начали искать, как преодолеть разрыв между разными областями региональных исследований. Как подчеркивается в [Bellér-Hann et al. 2007], между Китаем и Центральной Азией существуют исторические и современные контакты и динамика в сферах межличностных отношений (intimacy), миграций, торговли и образования, которые способны пролить свет на конкретные формы культурной гибридности и маршруты мобильности (см. также: [Bellér-Hann 2008; Hann 2011; Ripra 2014]). Схожим образом Марсден [Marsden 2012b: 356] провел сравнительный анализ литературы Центральной и Юго-Западной Азии (главным образом Пакистана, Афганистана, Ирана), чтобы «показать важность исследования той роли, которую идеи “региона” наряду с идеями локального, нации-государства и глобального играют в росте своеобразия и сложности повседневной жизни, идентичности, политической экономии и религии в Центральной и Юго-Западной Азии».

Все больше исследователей Центральной Азии обращаются к темам трансрегиональных перемещений и связей: Марсден и Хопкинс на материале афганского пограничья изучали взаимодействия поверх границ, проведенных холодной войной и колониализмом [Marsden, Hopkins 2011]. Мостовланский провел анализ разнообразного опыта колониального

правления и ориенталистских проекций в Гилгит-Балтистане (Пакистан) и Горном Бадахшане (Таджикистан), поставив под вопрос классическую периодизацию колониального / постколониального [Mostowlansky 2014a]. Марсен недавно затронул тему сетей афганских торговцев, которые связывают Центральную Азию с множеством других евразийских контекстов [Marsden 2015b] и внешними территориями (г. Иу в Китае).

Исторические и более современные связи между Восточной Европой (через социализм), Монголией и Россией и Центральной Азией также стали объектом внимания исследователей, продуктивно работающих на пересечении разных регионов [Humphrey 2002; Hann 2002; Mandel, Kandiyoti 2002; Humphrey, Marsden, Skvirskaja 2008]. Вернер и ее соавторы предложили этнографический анализ религиозного опыта казахов в западной Монголии, которые после краха социализма не уехали в Казахстан [Werner et al. 2013]. Дюбуиссон и Генина исследовали образы «родной земли» в воображении казахов Монголии и их представления о принадлежности месту (belonging) сквозь призму передвижения в пространстве и во времени [Dubuisson, Genina 2011]. Работая с мобильностью, миграцией и диаспорами, исследователи внесли свой вклад в формирование новых конфигураций центральноазиатского региона по отношению к другим географическим ареалам, с которыми он исторически ассоциировался. Ривз пишет о риске, на который идут киргизские мигранты в Москве, чтобы достать документы, дающие им право работать и жить в столице России [Reeves 2013]. Марсен и Ибаньез-Тирадо отмечают важность смешанных браков для закрепления афганских торговцев в Украине [Marsden, Ibañez-Tirado 2015]. Сборник о трудовой миграции в Центральной Азии под редакцией Лорель предлагает более междисциплинарную перспективу и в то же время делает акцент на глоболизирующих процессах усугубления неравенства и мобильности [Laurelle 2013].

Интерес исследователей к трансрегиональным и транснациональным связям растет на фоне разворачивания критики региональных исследований. Область региональных исследований, понятых как способ производить междисциплинарное знание о конкретных географиях и культурных ареалах мира, вызывает непрерывные дискуссии в гуманитарных и социальных науках на протяжении последних двадцати лет. Обсуждаются опасности «поощрения партикуляризма <...> идеологического, теоретического или попросту местечкового клиентелизма» [Guyer 2004: 501], влияние воспроизводства «концептов-фильтров» (каста для Индии [Appadurai 1986]) или «зон теории» (ислам, гендер и сегментация для Ближнего Вос-

тока [Abu-Lughod 1989]), а также необходимость «заземления» глобальных явлений, например в истории неравенства, специфичной для каждого региона [Eqbal 2003]. Региональные исследования нередко критикуют также из-за устройства и финансирования академических институций и тех форм неравенства и топографий знания, которые они производят [Tlostanova 2015] (ср.: [Amsler 2007]).

Тлостанова объясняет проблемы производства знания как явления «колониальности» «модерного» Запада (или богатого «глобального Севера»), который стремится исследовать, интерпретировать и теоретизировать «человечество», создавая таким образом онтологического «другого» [Tlostanova 2015]. Тлостанова полагает, что эти иерархии производства знания игнорируют постсоветские пространства и постсоветских мыслителей, а потому «постсоветское состояние» оказывается обусловлено «внешним имперским и двойным колониальным различием, проявленным в разделении на Запад / Восток и Север / Юг» [2015: 46].

Конечно, можно интерпретировать региональные исследования как западный конструкт для западных аудиторий о не западных обществах. Но проблемы асимметрии производства знания нельзя просто свести ни к формуле «Запад (или “глобальный Север”) против остального мира», ни к выводу Тлостановой о том, что на Западе считают, будто «постсоветские» пространства / ученые неспособны к мышлению. С одной стороны, такая линия аргументации чрезмерно упрощает исторические отношения между разными центрами производства научного знания и новыми тенденциями и сетями финансирования, источник которых локализован не на Западе / Севере (например, исследование Ибаньез-Тирадо в Таджикистане спонсировал Национальный совет по науке и технологии Мексики (CONACYT-Mexico)). С другой стороны, такой подход упускает из виду важные перемены в центральноазиатских исследованиях. Например, если принять во внимание научное знание, которое памирские исмаилиты производят о своей родине в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, то сомнительной оказывается релевантность одномерных теорий о доминировании западного колониального знания в изучении Центральной Азии. Такие исследования часто спонсируются Международной академической программой Фонда Ага Хана (Aga Khan Foundation International Scholarship Programme) и сопротивляются категоризации «Запад / Север». И хотя эта программа порождает другие виды неравенства (например, таджикские студенты — не исмаилиты — жалуются, что не могут надеяться на стипендии и гранты, доступные памирцам-исмаилитам), памирские исследователи пишут отлич-

ные работы, которые одновременно укоренены в исторической и географической специфике памирских деревень, и делают вклад в литературу по истории мусульманских обществ в целом. Например, книга Илолиева, основанная на источниках на таджикском, ваханском, русском и английском языках, представляет анализ биографии Мубарака-и-Вахани, исмаилитского религиозного ученого [Iloliev 2008]. На основе его трудов Илолиев исследует местное памирское восприятие исмаилизма. Упомянем еще книгу Мастинбекова, посвященную истории религиозного чиновничества на Памире на фоне секуляризации, принесенной сюда советским режимом [Mastinbekov 2014].

Как пишет Мирсепаси с соавторами, «если бы не детальное знание, производимое региональными исследованиями о регионах мира, которые <...> считаются политически нерелевантными», может быть, те части мира, которые воспринимаются широкой публикой как не имеющие большого утилитарного значения, не получили бы того исследовательского внимания, которое им досталось [Mirsepassi et al. 2003: 2]. Конечно, многие университеты и академические институты в Соединенном Королевстве сейчас сталкиваются с сокращением финансирования социальных и гуманитарных наук и языковой подготовки. Региональные исследования создают важную площадку для изучения языков, развития междисциплинарности и, в целом, для эмпирически обоснованных подходов к исследованию глобализирующих процессов в конкретных регионах мира. Если ослабление парадигмы региональных исследований будет продолжаться, все эти направления окажутся под угрозой. Возможно, это даже более актуально в условиях роста влияния точных наук, которые, как считается, делают «непосредственный вклад» в общество и экономику, и таких глобализованных социальных дисциплин, как бизнес и менеджмент. В таких условиях вместо того, чтобы выступать за упразднение центральноазиатских исследований или пытаться заново интерпретировать географию региона или национальных государств в его составе, необходимо обеспечить как можно более широкое разнообразие и гибкость трактовок Центральной Азии, чтобы извлечь из этого региона максимальную теоретическую пользу. Как замечает Сайдэвей, чтобы выйти за пределы традиционного страноведения, нам нужно справиться с «более масштабной интеллектуальной задачей, а именно восстановить связи между пространствами прошлого и предсказать, какие связи будут актуальны в глобализирующемся настоящем» [Sidaway 2012: 507].

Наконец, мы уверены, что современные антропологические исследования Центральной Азии успешно фиксировали и, вполне

возможно, в дальнейшем будут фиксировать трансрегиональные географические образы, не подчеркивая «физически замкнутую» географию региона или исключительность его советской / постсоветской истории, но фокусируясь на выгодном положении Центральной Азии как центра связей, мобильности и гибридности, а также на активности, локальном опыте и актуальном неравенстве населения Центральной Азии в условиях глобализирующих процессов в общем азиатском контексте.

Библиография

- Puvz M.* Антропология Средней Азии через десять лет после «состояния поля»: стакан наполовину полон или наполовину пуст? // Антропологический форум. 2014. № 20. С. 60–79.
- Abashin S.* Nation-Construction of Soviet Central Asia // Bassin M., Kelly C. (eds.). *Soviet and Post-Soviet Identities*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 150–168.
- Abu-Lughod L.* Zones of Theory in the Anthropology of the Arab World // *Annual Review of Anthropology*. 1989. Vol. 18. P. 267–306.
- Adams L.* *The Spectacular State: Culture and National Identity in Uzbekistan*. Duke: University Press Books, 2010. 256 p.
- Alexander C.* *Almaty: Rethinking the Public Sector* // Alexander C., Buchli V., Humphrey C. (eds.). *Urban Life in Post-Soviet Asia*. L.: UCL, 2007. P. 70–101.
- Amster S.* *The Politics of Knowledge in Central Asia: Science between Marx and the Market*. L.; N.Y.: Routledge, 2007. 188 p.
- Appadurai A.* *Theory in Anthropology: Center and Periphery* // *Comparative Studies in Society and History*. 1986. Vol. 28. No. 2. P. 356–361.
- Bellér-Hann I.* *Community Matters in Xinjiang. Towards a Historical Anthropology of the Uyghur*. Leiden; Boston: Brill, 2008. 476 p.
- Bellér-Hann I., Cristina Cesàro M., Harris R., Smith Finley J.* (eds.). *Situating the Uyghurs between China and Central Asia*. Hampshire: Ashgate Publishing Company, 2007. 276 p.
- Bennigsen A., Wimbush S.* *Muslims of the Soviet Empire*. L.: Hurst, 1985. 294 p.
- Bershidsky L.* *Kyrgyzbekistan isn't Funny* // *Bloomberg View*. 2015, January 9. <<http://www.bloombergview.com/articles/2015-01-09/kyrgyzbekistan-isnt-funny>>.
- Bergne P.* *The Birth of Tajikistan: National Identity and the Origins of the Republic*. L.: I. B. Tauris, 2006. 178 p.
- Beyer J.* *Settling Descent: Place Making and Genealogy in Talas, Kyrgyzstan* // *Central Asian Survey*. 2011. Vol. 30. No. 3–4. P. 455–468.
- Beyer J.* *Customizations of Law: Courts of Elders (Aksakal Courts) in Rural and Urban Kyrgyzstan* // *POLAR, Political and Legal Anthropology Review*. 2015. Vol. 38. No. 1. P. 53–71.
- Buchli V.A.* *Astana: Materiality and the City* // Alexander C., Buchli V., Humphrey C. (eds.). *Urban Life in Post-Soviet Asia*. L.: UCL, 2007. P. 40–69.

- Buchli V.A.* Surface Engagements in Astana // Adamson G., Kelly V. (eds.). *Surface Tensions*. Manchester: University Press, 2013. P. 84–95.
- Caroe O.* *Soviet Empire: The Turks of Central Asia and Stalinism*. L.: McMillan, 1953. 300 p.
- Carrère d'Encausse H.* Islam in the Soviet Union: Attempts at Modernisation // *Religion in Communist Lands*. 1974. Vol. 2. No. 4–5. P. 12–20.
- Chari S., Verdery K.* Thinking between the Posts: Postcolonialism, Post-socialism and Ethnography after the Cold War // *Comparative Studies in Society and History*. 2009. Vol. 51. No. 1. P. 6–34.
- Cole J.R.I., Kandiyoti D.* Nationalism and the Colonial Legacy in the Middle East and Central Asia: Introduction // *International Journal of Middle East Studies*. 2002. Vol. 34. No. 2. P. 189–203.
- Collins K.* *Clan Politics and Regime Transition in Central Asia*. N.Y.: Cambridge University Press, 2006. 376 p.
- Dubuisson E., Genina A.* Claiming an Ancestral Homeland: Kazakh Pilgrimage and Migration in Inner Asia // *Central Asian Survey*. 2011. No. 3–4. P. 469–485.
- Eickelman D.* *The Middle East and Central Asia: An Anthropological Approach*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1998. 384 p.
- Eqbal A.* Knowledge, Place and Power: A Critique of Globalization // Mirsepassi A., Basu A., Weaver F. (eds.). *Localizing Knowledge in a Globalizing World. Recasting the Area Studies Debate*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2003. P. 216–229.
- Féaux de la Croix J.* Moving Metaphors We Live by: Water and Flow in the Social Sciences and around Hydro-electric Dams in Kyrgyzstan // *Central Asian Survey*. 2011. Vol. 30. No. 4. P. 487–502.
- Féaux de la Croix J.* “Bringing Lights to the Yurts”: Visions of Future and Belonging Surrounding Pastures and Hydropower in Kyrgyzstan // *Anthropology of East Europe Review*. 2014. Vol. 32. No. 2. P. 49–67.
- Gross J.* (ed.). *Muslims in Central Asia: Expressions of Identity and Change*. Durham: Duke University Press, 1992. 240 p.
- Gulette D.* *The Genealogical Construction of the Kyrgyz Republic: Kinship, State and “Tribalism”*. L.: Brill, 2010. 272 p.
- Guyer J.I.* Anthropology in Area Studies // *Annual Review of Anthropology*. 2004. Vol. 33. P. 449–523.
- Hann C.* (ed.). *Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia*. L.: Routledge, 2002. 360 p.
- Hann C.* Smith in Beijing, Stalin in Urumchi: Ethnicity, Political Economy and Violence in Xinjiang, 1759–2009 // *Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology*. 2011. Vol. 60. P. 108–123.
- Harris C.* *Control and Subversion: Gender Relations in Tajikistan*. L.: Pluto Press, 2004. 216 p.
- Harris C.* *Muslim Youth: Tensions and Transitions in Tajikistan*. L.: West-view Press, 2005. 208 p.
- Heathershaw J.* *Post-conflict Tajikistan*. L.: Routledge, 2009. 240 p.

- Heathershaw J., Megoran N.* Contesting Danger: A New Agenda for Policy and Scholarship on Central Asia // *International Affairs*. 2011. Vol. 87. No. 3. P. 589–612.
- Hirsch F.* Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca; L.: Cornell University Press, 2005. 392 p.
- Humphrey C.* Does the Category “Postsocialist” still Make Sense? // Hann C. (ed.). *Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia*. L.: Routledge, 2002. P. 12–15.
- Humphrey C., Marsden M., Skvirskaja V.* Cosmopolitanism and the City: Interaction and Coexistence in Bukhara // Mayaram S. (ed.). *The Other Global City*. N.Y.: Routledge, 2008. P. 202–231.
- Ibañez-Tirado D.* “How Can I Be Post-Soviet if I Was Never Soviet?” Rethinking Categories of Time and Social Change — a Perspective from Kulob, Southern Tajikistan // *Central Asian Survey*. 2015. Vol. 34. No. 2. P. 190–203.
- Ilkhamov A.* Archaeology of Uzbek identity // *Central Asian Survey*. 2004. Vol. 23. No. 3–4. P. 289–326.
- Ilioliev A.* The Ismaili-Sufi Sage of Pamir: Mubarak-i Wakhani and the Esoteric Tradition of the Pamiri Muslims. N.Y.: Cambria Press, 2008. 260 p.
- Isabaeva E.* Leaving to Enable Others to Remain: Remittances and New Moral Economies of Migration in Southern Kyrgyzstan // *Central Asian Survey*. 2011. Vol. 30. No. 3/4. P. 541–554.
- Kalinovsky A.M.* Not Some British Colony in Africa: the Politics of Decolonization and Modernization in Soviet Central Asia, 1955–1964 // *Ab Imperio*. 2013. Vol. 2. P. 191–222.
- Kandiyoti D.* Postcolonialism Compared: Potentials and Limitations in the Middle East and Central Asia // *International Journal of Middle East Studies*. 2002. Vol. 34. P. 279–297.
- Kandiyoti D., Azimova N.* The Communal and the Sacred: Women’s World of Ritual in Uzbekistan // *Royal Anthropological Institute*. 2004. Vol. 10. P. 327–349.
- Khalid A.* The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of California Press, 1998. 360 p.
- Khalid A.* Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia. Berkeley; L.: University of California Press, 2007a. 253 p.
- Khalid A.* Introduction: Locating the (Post-) Colonial in Soviet History // *Central Asian Survey*. 2007b. Vol. 26. No. 4. P. 465–473.
- Kudaibergenova D.* Between the State and the Artists: Representations of Femininity and Masculinity in the Formation of Ideas of the Nation in Central Asia // *Nationality Papers. The Journal of Nationalism and Ethnicity*. 2015. Vol. 43. No. 5.
- Laurelle M.* (ed.). *Migration and Social Upheaval as the Face of Globalization in Central Asia*. Leiden: Brill, 2013. 413 p.
- Laszczkowski M.* Building the Future: Construction, Temporality, and Politics in Astana // *Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology*. 2011. Vol. 60. P. 77–92.

- Laszczkowski M.* State Building(s). Built Forms, Materiality and the State in Astana // Reeves M., Rasanayagam J., Beyer J. (eds.). *Ethnographies of the State in Central Asia: Performing Politics*. Bloomington: Indiana University Press, 2014. P. 149–172.
- Liu M.* Central Asia in the Post-Cold War World // *Annual Reviews in Anthropology*. 2011. Vol. 40. P. 115–131.
- Liu M.* *Under Solomon's Throne: Uzbek Visions of Renewal in Osh*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2012. 328 p.
- Louw E.M.* *Everyday Islam in Post-Soviet Central Asia*. L.; N.Y.: Routledge, 2007. 224 p.
- Mandel R., Humphrey C.* (eds.). *Markets and Moralities: Ethnographies of Post-Socialism*. Oxford: Berg, 2002. 240 p.
- Marsden M.* “For Badakshan — the Country without Borders!”: Village Cosmopolitans, Urban-Rural Networks and the Post-Cosmopolitan City in Tajikistan // Humphrey C., Skvirskaja V. (eds.). *Post-Cosmopolitan Cities*. N.Y.; Oxford: Berghahn, 2012a. P. 217–238.
- Marsden M.* Southwest and Central Asia: Comparison, Integration or Beyond? // Fardon R. et al. (eds.). *The Sage Handbook of Social Anthropology*. L.: Sage, 2012b. P. 340–365.
- Marsden M.* Crossing Eurasia: Trans-regional Afghan Trading Networks in China and Beyond // *Central Asian Survey*. 2015a. Vol. 34. No. 4 (forthcoming).
- Marsden M.* *Trading Worlds: Afghan Merchants across Modern Frontiers*. L.; N.Y.: Hurst & Co; Oxford University Press, 2015b. 480 p.
- Marsden, M., Hopkins, B.* *Fragments of the Afghan Frontier*. N.Y.: Oxford University Press, 2011. 256 p.
- Marsden M., Ibañez-Tirado D.* Repertoires of Family Life and the Anchoring of Afghan Trading Networks in Ukraine // *History and Anthropology*. 2015. Vol. 26. No. 2. P. 145–164.
- Mastinbekov O.* *Leadership and Authority in Central Asia. The Ismaili Community in Tajikistan*. N.Y.; L.: Routledge, 2014. 202 p.
- McBrien J.* Listening to the Wedding Speaker: Discussing Religion and Culture in Southern Kyrgyzstan // *Central Asian Survey*. 2006. Vol. 25. No. 3. P. 341–357.
- McBrien J.* Mukadas's Struggle: Veils and Modernity in Kyrgyzstan // *Journal of the Royal Anthropological Institute*. 2009. Vol. 15. No. S1. P. S127–S144.
- Megoran L.* The Critical Geopolitics of the Uzbekistan-Kyrgyzstan Fergana Valley Boundary Dispute, 1999–2000 // *Political Geography*. 2004. Vol. 23. No. 6. P. 731–764.
- Mirsepasi A., Basu A., Weaver F.* Introduction: Knowledge, Power and Culture // Mirsepasi A., Basu A., Weaver F. (eds.). *Localizing Knowledge in a Globalizing World. Recasting the Area Studies Debate*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2003. P. 1–24.
- Mitchell T.* Deterritorialization and the Crisis of Social Sciences // Mirsepasi A., Basu A., Weaver F. (eds.). *Localizing Knowledge in a Globalizing World. Recasting the Area Studies Debate*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2003. P. 148–170.

- Morrison A.* Applied Orientalism in British India and Tsarist Turkestan // Comparative Studies in Society and History. 2009. Vol. 51. No. 3. P. 619–647.
- Mostowlansky T.* Where Empires Meet: Orientalism and Marginality at the Former Russo-British Frontier // Borne P., Gorshenina S. (eds.). L'Orientalisme des marges: éclairages de l'Inde et de la Russie. Etudes des Lettres. 2014a. No. 2–3. P. 179–196.
- Mostowlansky T.* The Road Not Taken: Enabling and Limiting Mobility in the Eastern Pamirs // Internationales Asienforum / International Quarterly for Asian Studies. 2014b. Vol. 45. No. 1–2. P. 153–170.
- Myer W.* Islam and Colonialism: Western Perspectives on Soviet Asia. L.: Routledge; Curzon, 2002. 263 p.
- Naumkin V.* Radical Islam in Central Asia: between Pen and Rifle. Lanham; Oxford: Rowman & Littlefield, 2005. 336 p.
- Rasanayagam J.* Islam in Post-Soviet Uzbekistan: the Morality of Experience. N.Y.: Cambridge University Press, 2010. 296 p.
- Rashid A.* Jihad: the Rise of Militant Islam in Central Asia. New Haven: Yale University Press, 2002. 320 p.
- Reeves M.* Border Work. Culture and Society After Socialism. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2014. 292 p.
- Reeves M.* Clean Fake: Authenticating Documents and Persons in Migrant Moscow // American Ethnologist. 2013. Vol. 40. No. 3. P. 508–524.
- Reeves M.* Staying Put? Towards a Relational Politics of Mobility at a Time of Migration // Central Asian Survey. 2011. Vol. 30. No. 3–4. P. 555–575.
- Reeves M., Rasanayagam J., Beyer J.* (eds.). Ethnographies of the State in Central Asia: Performing Politics. Bloomington: Indiana University Press, 2014. 332 p.
- Rippa A.* From Uyghurs to Kashgaris (and back?). Migration and Cross-border Interactions between Xinjiang and Pakistan // Crossroads Asia Working Papers Series. 2014. Vol. 3. P. 1–30.
- Roche S.* Gender in Narrative Memory. The Example of Civil War Narratives in Tajikistan // Ab Imperio. 2012. No. 3. P. 279–307.
- Roche S.* Domesticating Youth. Youth Bulges and their Socio-political Implications in Tajikistan. N.Y.; Oxford: Berghahn, 2014. 296 p.
- Roy O.* The New Central Asia: The Creation of Nations. L.: I. B. Tauris, 2000. 272 p.
- Sahadeo J., Zanca R.* (eds.). Everyday Life in Central Asia. Past and Present. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2009. 424 p.
- Schatz E.* Modern Clan Politics: The Power of “Blood” in Kazakhstan. Seattle: University of Washington Press, 2002. 280 p.
- Sidaway J.D.* Long Live Trans-area Studies! // Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 2012. Vol. 168. No. 4. P. 506–508.
- Snajder E.* Gender, Power, and the Performance of Justice: Muslim Women's Responses to Domestic Violence in Kazakhstan // American Ethnologist. 2005. Vol. 32. No. 2. P. 294–311.

- Snajder E.* Ethnicizing the Subject: Domestic Violence and the Politics of Primordialism in Kazakhstan // The Journal of the Royal Anthropological Institute. 2007. Vol. 13. No. 3. P. 603–620.
- Stahl K.* British and Soviet Colonial Systems. L.: Faber & Faber, 1951. 114 p.
- Tlostanova M.* Can the Post-Soviet Think? On Coloniality of Knowledge, External Imperial and Double Colonial Difference // Intersections. 2015. Vol. 1. No. 2. P. 38–58.
- Werner C.* Bride Abduction in Post-Soviet Central Asia: Marking a Shift Towards Patriarchy through Local Discourses of Shame and Tradition // Journal of the Royal Anthropological Institute. 2009. Vol. 15. P. 314–331.
- Werner C., Barcus H., Brede N.* Discovering a Sense of Well-Being through the Revival of Islam: Profiles of Kazakh Imams in Western Mongolia // Central Asian Survey. 2013. Vol. 32. No. 4. P. 527–541.
- Wheeler G.* Race Relation in Soviet Muslim Asia // Journal of the Royal Central Asian Society. 1960. Vol. 47. No. 2. P. 93–105.

Пер. с англ. Александры Касаткиной

ТОХИР КАЛАНДАРОВ

Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить журнал «Антропологический форум» за приглашение принять участие в обсуждении. На вопрос о том, нужны ли сегодня региональные исследования, как мне кажется, можно ответить утвердительно. Во-первых, институционализация региональных исследований в виде разных центров и департаментов уже говорит сама за себя. Во-вторых, нет сомнений, что эпоха энциклопедистов давно прошла, и антропологи как никто другой понимают, насколько важны отдельные элементы социальной жизни, культуры и т.д. на фоне глобального общечеловеческого миропорядка. Исследователь не может всерьез заниматься одной и той же проблемой (к примеру, миграцией), анализируя ее в глобальном масштабе или в разных странах. Точно так же теоретические выводы исследования, касающегося одной страны или одного региона (пусть это будет опять же миграция), необязательно «сработают» относительно иного региона. Например, вывод о том, что тяжелый и опасный труд шахтеров ряда африканских

стран подталкивает их к беспорядочным половым отношениям и в итоге приводит к росту числа ВИЧ-инфицированных, «не работает» для других регионов.

Рекомендации ученых относительно профилактики ВИЧ и СПИДа обычно включают пункт об использовании презервативов. Логика подсказывает, что обучение школьников тому, как ими пользоваться, является правильным шагом в этом направлении. Однако многие киргизы, например, были свидетелями, как после свержения режима Акаева по телеканалам Кыргызстана демонстрировали кадры, где его дочь обучает школьников и молодых людей, как правильно использовать презерватив. И, конечно, все это показывалось исключительно в целях дискредитации дочери первого президента Кыргызстана.

Региональные исследования требуют от исследователя не только хорошего знания языка(ов), но и понимания контекста региона. Опыт показывает, что в тех академических институтах или университетах, где есть специальные отделы / департаменты по конкретным регионам, как правило, готовят хороших регионоведов. К сожалению, во многих российских университетах и институтах гуманитарного профиля уже канула в Лету традиция подготовки квалифицированных специалистов по регионам Средней Азии и Казахстана — историков, филологов, этнологов и др. (Я умышленно использую термин «Средняя Азия», о чем будет сказано ниже.) К примеру, в главном антропологическом / этнологическом центре России — Институте этнологии и антропологии РАН — ликвидирован отдел Средней Азии и Казахстана. Оптимизация расходов путем ликвидации или слияния целых отделов с многолетней историей их успешного функционирования — не самый верный вариант решения проблемы.

В университетах теперь практически не изучают языки народов Средней Азии и Казахстана. К сожалению, традиции выдающейся советской этнографической школы почти ушли со сцены российской науки. А ведь эта школа имела в своем арсенале достойные стипендии аспирантов и зарплаты ученых, знание языка изучаемого народа, длительное проживание среди этого народа, включенное наблюдение, сравнительный анализ полученных данных методами смежных дисциплин, таких как лингвистика, археология, религиоведение, фольклористика и т.д. Именно поэтому современные исследователи проблем миграции, например, часто приходят к ошибочным заключениям.

Так, одна молодая российская исследовательница, наблюдая за мигрантами, проходящими в кафе с восточной кухней в Москве и здоровающимися за руку с официантами, связыва-

ла данное явление с тем, что между этими мигрантами существуют устойчивые земляческие связи. Если понаблюдать за подобными небольшими кафе вдоль больших автодорог в Средней Азии, то можно увидеть точно такие же сцены. Официанты в течение дня будут здороваться за руку с сотнями, а может, и тысячами клиентов, при этом их не связывают никакие нити, разве только общекультурные (общеазиатские правила этикета). Здороваться за руку с малознакомым или вообще незнакомым человеком, когда он входит в кафе, чайхану и т.п., — общепринятая норма поведения в среднеазиатских республиках. В данной ситуации официант, охранник или другие сотрудники кафе выступают в роли хозяев этого заведения, и поведенческая этика заставляет вас как гостя здороваться с ними. Таким образом, поверхностное наблюдение может стать причиной некорректной интерпретации.

Нынешняя «грантовая наука» ограничивает исследователя в продолжительности нахождения в среде изучаемого сообщества, в возможности изучения языка, понимания глубинных основ другой культуры и т.д. В изучении миграционных процессов ограничения во времени, поверхностное понимание культуры и незнание языка изучаемого региона / народа приводят к сложностям установления доверительных отношений с информантами, чему способствует и активное использование труда посредников-переводчиков. В итоге в современных исследованиях мигрантов отсутствует голос самих мигрантов.

При этом, конечно, современная наука не может функционировать без широкого международного сотрудничества. Но и тут есть свои сложности. Практически мизерное финансирование антропологической науки (как и всей науки) со стороны среднеазиатских государств, кроме, пожалуй, Казахстана, сделало «местных исследователей» уязвимыми по сравнению с коллегами из России, Западной Европы и США. Финансово обеспеченные американские и западноевропейские исследователи чувствуют себя на высоте перед своими среднеазиатскими коллегами. В связи с этим происходит неравномерное разделение труда и денег в ходе совместных научных проектов. Среднеазиатские специалисты в основном выполняют «черную» работу (организация и проведение интервью, анализ в программах Atlas.ti, SPSS и т.п.). При этом иногда в публикациях на английском языке их имена среди авторов даже не упоминаются. В лучшем случае зарубежный автор статьи выражает им благодарность, но иногда и это «забывает» сделать. Очень часто в таких совместных проектах среднеазиатские исследователи не знают о сумме гранта, выделенного на тот или иной проект, получая деньги за проделанную работу в конверте по усмотрению иностранного коллеги.

Вместе с тем без международного сотрудничества получается так, что региональные специалисты вместе со своими исследованиями «варятся в собственном соку». Публикации на государственных языках среднеазиатских республик остаются вне поля зрения широкого научного сообщества. Не все научные журналы республик Средней Азии имеют доступ в РИНЦ, Scopus, Web of Science и т.д. А это, в свою очередь, не способствует повышению индекса цитирования исследователей, занимающихся среднеазиатским регионом. Другими словами, российский, европейский или американский ученый, который занимается, к примеру, Таджикистаном, цитируется таджикскими коллегами, но это не учитывается в индексах цитирования и т.д.

Говоря о территориальных границах Central Asian studies, хотелось бы отметить, что их дословный перевод на русский язык как «Центральная Азия» не совсем адекватно обрисовывает географию Казахстана и четырех среднеазиатских республик. Географически Центральная Азия меньше всего охватывает такие республики, как Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, но зато в большей степени — Монголию и Китай. Для нас — этнологов / культурных антропологов — имеет значение главным образом историко-культурное определение региона, и в этом контексте Монголия и Китай меньше всего сочетаются со среднеазиатскими республиками. Русская географическая школа имеет два термина для обозначения этого обширного региона Земли — Средняя Азия и Центральная Азия. Наши англоязычные коллеги при употреблении названия Central Asia скорее имеют в виду Среднюю, нежели Центральную Азию.

Мне думается, декларативно нельзя решить эту проблему, так как сама научная элита среднеазиатских республик не готова отказаться от традиционно употреблявшихся терминов. В любом случае оба эти названия имеют право на существование, тем более что нарастающая интенсификация международных связей между региональными специалистами из Средней Азии и их коллегами за рубежом постепенно сводит на нет разногласия в толковании терминов.

Отвечая на третий вопрос, безусловно, необходимо признать, что исламский фактор играет важную роль в регионе. Однако он не единственный. Антропологи, занимающиеся исламом в регионе, сегодня сталкиваются с тем, что он все больше приобретает политический характер. Таким образом, ислам уходит из поля зрения антропологов и религиоведов и переходит в компетенцию политологов. Нынешняя ситуация в арабских и других странах дает нам понять, что осознанно или неосознанно (будучи навязанным извне) ислам в этих странах вос-

принимается как единственный метод политической борьбы. Антропологам всегда было интересно разнообразие в исламском обществе с его различными ритуалами, культурами, взаимоотношениями и т.д. Что же касается политического ислама, то он, как мы видим, не терпит никакого плюрализма. Чем радикальнее группа, тем более сильные позиции она имеет в политической борьбе. Радикальные группировки, запрещенные ныне в среднеазиатских республиках, явно подчеркивают их политизированный характер.

Ислам в Средней Азии принимает форму борьбы за чистоту религии. Собственно течение *салафия* призывает возвратиться к истокам ислама. В какой-то мере салафиты играют роль законодателей моды в исламском мире в указанном регионе. Идет процесс «паспортизации» мусульман Средней Азии со стороны салафитов: они определяют, кто является «правильным» мусульманином, а кто нет. Легитимизация духовности в регионе все больше зависит от визуальности ритуалов и обрядов. Эта сторона жизни мусульман могла бы быть интересна антропологам, однако противостояние «традиционалистов» и «реформаторов» ислама, а также их взаимная вражда скорее пугают моих коллег-исследователей, нежели возбуждают в них интерес. В изучении этих процессов ученым очень сложно дистанцироваться от происходящего и не навлечь на себя немилость одной из противоборствующих сторон.

Нельзя не отметить, что в последние десятилетия вышли очень хорошие антропологические труды, в которых анализируются проблемы ислама в регионе. Это работы С. Абашина, Ф. Блисса, Е. Кривец, Дж. Нобея, О. Мастибекова, Дж. Расанаягама, Р. Рахимова, М. Резван, М. Ривз, А. Халида, М. Элизабет и др. Вместе с тем исламские богословы в регионе не уделяют должного внимания научным публикациям по исламоведению. И тут дело даже не в языковом барьере (хотя это существенная преграда, ведь первые пишут главным образом на русском и английском, а вторые — на местных языках и арабском), а скорее в методологических подходах к теме. Местные улемы более сосредоточены на идее спасительного характера (в день Страшного суда) того или иного течения в исламе. Они игнорируют работы тех авторов, которые не ставят своей целью доказать правдивость и истинность какого-либо течения в регионе. Понятно, что антропологи не могут ставить перед собой такие задачи. Все это приводит к тому, что никакой дискуссии между экспертами и знатоками ислама не происходит.

Помимо ислама в регионе есть много тем, которые сегодня в условиях глобализации и постоянно меняющихся социальных, политических и культурных реалий представляют значи-

тельную научную ценность для специалистов различных направлений. В частности, это интенсивные миграционные процессы и их влияние на социокультурные модели, медицинская антропология, антропология среднеазиатского села / города, антропология юмора и многие другие. Так что «среднеазиатское поле» ждет своих исследователей-«пахарей».

НАТАЛЬЯ КОСМАРСКАЯ

Тема, предложенная редакцией для обсуждения, очень важна и в то же время во многих аспектах весьма чувствительна и болезненна (я имею в виду не столько сюжет о региональных исследованиях как таковых, сколько выбранный в качестве примера географический фокус — Центральную Азию).

Моя научная судьба неразрывно связана с этим регионом. Я являюсь представительницей того поколения советских ученых, которые при тотальном сломе целей, ориентиров, критериев и условий научной деятельности после распада СССР были вынуждены либо уйти из профессии, либо радикально перестроиться и найти для себя новую сферу приложения сил (с дисциплинарной и / или с региональной точки зрения). Кратко расскажу о том, как и почему произошел этот поворот в моей научной жизни — это важно для последующего изложения. В советское время, изучая на микроуровне эволюцию сельских сообществ Тропической Африки (гендерные отношения, семейное разделение труда, влияние миграций на жизнь большой и нуклеарной семьи и пр.), я занималась, по сути, социальной антропологией, только, увы, по вторичным исследованиям западных ученых (доступность которых, отмечу справедливости ради, была в те времена чрезвычайно высока, пусть иногда через пресловутый «спецхран»). Никаких возможностей провести в Африке полевые исследования при отсутствии у меня партийно-номенклатурных связей не было (тем более что Институт Африки РАН в период директорства в нем А. Громыко превратился в «филиал МИДа»).

Попав впервые в западный университет в 1991 г. (еще до распада СССР) и прочитав там несколько лекций, я поняла, что, независимо от качества исследований и наличия авторских монографий, человек, не работавший в «поле», никогда не станет в рамках интересующих меня дисциплин полноправным членом международного научного сообщества. Поэтому я воспользовалась первой же возможностью поехать «в поле», теперь уже для изучения «бывшей собственной» страны, где развивались интересные процессы, связанные с этничностью и национализмом, а на низовом уровне — с адаптацией множества разных людей к совершенно новым социально-культурным реалиям. В 1992 г. я поехала в Киргизию и тем самым выбрала себе «поле» и тематику на долгие годы (позднее второй регулярно посещаемой для проведения полевых исследований страной стал для меня Узбекистан).

Если сама тема в общем виде весьма актуальна, то ее конкретизация редакцией (в частности, в виде двух первых вопросов) представляется мне несколько надуманной и оторванной (если в качестве примера для обсуждения региональных исследований выбраны именно центральноазиатские) от российских реалий — как научных, так и социальных.

Начну с того, что меня весьма удивил выбор региона в качестве примера для журнального обсуждения состояния и перспектив региональных исследований в антропологии. Ведь речь идет о журнале, который, несмотря на «двойное подчинение», издается в России — стране, где число исследователей этого региона едва ли превышает число пальцев на двух руках, а возможно, только на одной. Хотелось бы уточнить, что под такого рода учеными я имею в виду людей, которые регулярно проводят в регионе достаточно длительные полевые исследования, выступают с результатами этих изысканий на разного рода конференциях, включая международные, а также активно публикуют научные тексты по региональной тематике не только в России, но и на Западе. Довольно многочисленных «экспертов», которые оживленно комментируют на различных сайтах текущие политические события в странах Центральной Азии, к таким ученым, полагаю, относить не стоит.

Крайняя неразвитость центральноазиатских исследований в России известна всем, кто имеет к региону какое-либо «научное» отношение. Под «неразвитостью» я имею в виду состояние многих параметров: система образовательных и научно-исследовательских институций; число активно работающих ученых; количество публикаций, реализованных проектов, семинаров и конференций; наличие специализированных журналов и т.д. Ситуация, за которой я слежу много лет, к сожалению

нию, практически не улучшается. Прежде существовавший в Институте этнологии и антропологии РАН отдел Средней Азии был несколько лет назад «понижен» до «группы» и стал частью Центра азиатских и тихоокеанских исследований. В Центре изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН (где я имею честь работать), к вышеупомянутому типу сотрудника с натяжкой можно отнести двух-трех человек. В 2008 г. в ИСАА при МГУ была создана кафедра Центральной Азии и Кавказа, но о ее вкладе в увеличение числа исследователей пока говорить преждевременно.

Трудно найти партнеров по будущему проекту; очень трудно найти авторов. Будучи долгое время заместителем главного редактора междисциплинарного журнала «Диаспоры» (он издается с 1999 г.), могу засвидетельствовать: множество попыток «закрыть» какую-либо центральноазиатскую тему с помощью российского автора или тем паче собрать посвященный региону специальный номер (например, о миграциях и диаспорах в Центральной Азии) обычно терпели неудачу, и в результате либо публиковались статьи исследователей из региона, либо переводились на русский язык работы западных ученых.

Собственно, обсуждение причин сложившейся ситуации и путей выхода из нее выходит за пределы предложенной «Антропологическим форумом» тематики. Я затронула этот сюжет только для того, чтобы показать: мы находимся в ситуации, в которой «не до жиру, а быть бы живу». Конечно, было бы замечательно, если бы центральноазиатские исследования получили и постоянно расширяли свой «дом» в России «в виде отдельных центров, департаментов и научных сообществ, в виде отдельных учебных программ, исследовательских и издательских проектов». Но об этом пока можно только мечтать, так что будем радоваться любым росткам интереса к региону со стороны молодых и маститых антропологов, этнографов и «качественных» социологов. Вопрос «Как вас теперь называть?», т.е. о том, будем ли мы говорить, к примеру, о «Центральной Азии» или «Центральной Евразии», укладывать эти исследования в четко определенную географическую рамку или помещать под зонтик “Russian Studies”, “Slavic Studies” или “Asian Studies”, также не является в сложившихся условиях вопросом жизненной важности.

Возможно, западные коллеги представят, основываясь на опыте своих стран, какие-то весомые аргументы в пользу какого-либо из вариантов. Но мне кажется, что на Западе проблема формально-бюрократической принадлежности центральноазиатских исследований тоже не является очень значимой; к этим вопросам подходят достаточно гибко, причем никакой «путаницы» не

возникает. Во Франции, например, специалистов по Центральной Азии и другим странам Азии, а также, что на первый взгляд странно, по Центральной и Восточной Европе и России традиционно готовят в Национальном институте восточных языков и цивилизаций (INALCO). Но по отношению к Франции все эти регионы действительно находятся на «Востоке»! В той же Франции исследователей Центральной Азии можно найти в Центре тюркских, оттоманских, балканских и центральноазиатских исследований (СЕТОВАС), но с тем же успехом и в Центре изучения России, Кавказа и Центральной Европы (СЕРСЕС). В Великобритании студенты, аспиранты и исследователи, имеющие профессиональное отношение к Центральной Азии, традиционно находят себе приют в департаментах и центрах российских и восточно-европейских исследований различных университетов. Данная тематика обычно бывает представлена и на ежегодных конференциях Британской ассоциации славистских и восточно-европейских исследований (BASEES).

Что же касается каждого отдельного ученого и поиска ею / им своей профессиональной идентичности, я полагаю, все мы вольны самостоятельно выбирать наиболее адекватное тому или иному моменту соотношение «проблемности» и «региональности» в своих исследованиях. Это может выражаться как содержательно (выбор тем, методов, «полей» и концептуальных подходов), так и формально (выбор журналов для публикации своих работ, конференций для выступления и пр.). Существует некое подспудное мнение, что «проблемные» журналы выше по рейтингу, чем «региональные». Это не совсем так (в частности, журналы “Russian Review” и “Slavic Review” ценятся выше, чем, к примеру, тоже весьма уважаемый журнал “Nationalism and Ethnic Politics”). К тому же рейтинги динамичны, а главное, публикация в любом журнале, занимающем верхние (пусть не самые верхние) строчки в различных международных рейтингах, является весьма почетной.

Тут уместным будет обратиться к поднятому редакцией вопросу о «чувстве маргинальности своего поля, которое испытывают многие специалисты по региону». Проблема действительно важна, но, на мой взгляд, причины ощущения маргинальности таковы, что его трудно преодолеть посредством «правильных табличек» на дверях кафедр, институтов и пр. В моей научной жизни наиболее остро свою отчужденность от того, чему было посвящено много лет, я почувствовала как раз в той ситуации, которую описала выше. Мне стало ясно, что без доступа к полю двигаться вперед, да и просто остаться в профессии едва ли будет возможно. Насколько я могу судить, в постсоветской России ограничение или полное перекрытие «доступа к полю» по финансовым причинам (поездки в Центральную Азию весьма

дороги) стало тяжелым испытанием для многих ученых, не представляющих своей работы без контакта с «полем», которое отодвинулось к тому же за государственные границы.

В данном случае «ощущение маргинальности» обусловлено уже не неразвитостью собственно региональных (центрально-азиатских) исследований, о чем я писала выше, а плачевным состоянием российской науки вообще. Тут, кроме хронического недостатка финансирования, уместно вспомнить о том, что включенность российских ученых-гуманитариев в международное научное сообщество до сих пор оставляет желать много лучшего. Д.А. Функ, выступая недавно на пленарном заседании XI Конгресса антропологов и этнологов России (Екатеринбург, июль 2015 г.) с докладом о трудностях и перспективах развития антропологических исследований в нашей стране, посоветовал каждому из собравшихся в зале задать себе следующие вопросы (цитирую по памяти):

- 1) Насколько часто вас приглашают отрецензировать статью в западном журнале?
- 2) Насколько часто вы сами публикуете там свои работы?
- 3) Включают ли списки источников и литературы в ваших работах (свежие) публикации на иностранных языках?
- 4) Насколько часто вы выступаете на международных конференциях?

Думаю, для многих российских ученых эти вопросы являются чисто риторическими. Труднопреодолимая замкнутость «на себя» наших научных сообществ, с тенденцией к изолированности, а отсюда субъективная и объективная маргинализация вредят условиям проведения и качеству исследований, в том числе и региональных, намного больше, чем разноречивостью в названиях региона или отсутствие специализированных кафедр и журналов.

Однако в проблеме региональных (центральноазиатских) исследований есть и другие аспекты, которые, возможно, заслуживают нашего профессионального внимания, хотя они являются в какой-то мере «неудобными» для публичного обсуждения. Сформулирую несколько таких вопросов.

- 1) В чем недостатки и преимущества взгляда на регион «изнутри» (когда регион изучают ученые, в нем проживающие) и «снаружи» — в нашем случае, из России или западных стран?
- 2) Насколько верно суждение о том, что исследования Центральной Азии, проводимые российскими учеными, вольно или невольно отражают взгляд «из метрополии» и потому уступают по своей «объективности» результатам «со стороны», полученным западными коллегами?

- 3) Наконец, насколько соответствует действительности мнение о том, что доступ к некоторым «полям» (регионам, научным сюжетам и пр.) может быть затруднен наличием сплоченных сообществ людей, которых мы называем “native anthropologists”?

В заключение постараюсь ответить на третий вопрос редакции. На мой взгляд, исламский фактор отнюдь не является «главной особенностью» светских государств Центральной Азии. Следуя данной логике, нужно было бы выдвинуть православие в качестве главной особенности России и потому непременно атрибута «российских исследований». А если использовать формулировку «актуальная тема», то исламский фактор в регионе неизбежно будет лидировать среди них, если вспомнить известные геополитические проблемы (революционные потрясения на Ближнем Востоке, расширение запрещенной в России организации ИГИЛ и пр.).

Что касается «содержательных вопросов» в рамках центральноазиатских исследований, то я хотела бы оттолкнуться от связи «общее и особенное». Судя по моим многолетним наблюдениям, исследователи из самого региона, с точки зрения выбора тем и направлений работы, больше ориентированы на «особенное» — этнографическое описание и анализ различных проявлений этнокультурной специфики населяющих регион народов, в первую очередь титульных. Ситуация вполне объяснимая, если учесть проявлявшееся с разной степенью интенсивности и в разных формах стремление имперского центра к нивелированию «национального» на территориях, составляющих ныне Центральную Азию.

Мои же исследовательские предпочтения всегда отдавались «общему» — тому, что связывает интересующий нас регион и неазиатскую часть бывшего СССР, в первую очередь Россию. Связывает во множестве смыслов: на разных исторических отрезках; физически и символически; на разных этажах социальной иерархии; через наследие прошлого (не всегда, впрочем, благостное) и потребность друг в друге в настоящем; через высшие геополитические интересы и переплетение судеб обычных людей, историческую память и экономическое сотрудничество; через общую во многом ментальность и языковые предпочтения... На мой взгляд, этот подход к центральноазиатским исследованиям, если проводить их с трех сторон — «изнутри» и «снаружи», силами ученых из региона, а также западных и российских коллег, добавит немало стереоскопичности и глубины нашим знаниям о постсоветских обществах и их региональной специфике.

ЭМИЛЬ НАСРИТДИНОВ

**Конструировать Центральную Азию
изнутри Центральной Азии***Введение: голос из-под микроскопа*

Организаторы этого «Форума» задают интересные вопросы: есть ли на свете такая вещь, как Центральная Азия? Существует ли она как регион? Должна ли она проходить по ведомству русских / славянских или ближневосточных исследований, или ее следует изучать отдельно? Как «центральноазиата» меня задевает, когда я слышу, как подвергается сомнению мое право на существование как жителя моей страны и ученого. Уже четверть века, как моя страна, Кыргызстан, получила независимость. Этнические русские здесь составляют сегодня меньше 7 % населения, а единственная группа, которая представляет в Кыргызстане Ближний Восток — это этнические турки, которых всего около 0,7 %. Так на каких основаниях нас нужно относить к какому-либо из этих двух миров? Я чувствую сильное искушение объявить вопросы форума этноцентричными или даже империалистскими. Глядя в глаз огромного микроскопа, который уставился на меня из Санкт-Петербурга, я хочу сказать: «Да, я существую! Я центральноазиат, я кыргызстанец, и у меня есть свой собственный голос!»

Сказав это, я, однако, понимаю, что мой голос и голоса моих центральноазиатских коллег звучат не очень-то громко... пока. Центральноазиатская наука, в частности в таких областях, как антропология, все еще находится в поисках своей идентичности и борется за возможность писать и публиковаться. Причин этому много. Чтобы разобраться в них, нужно взглянуть на эту дисциплину в исторической перспективе.

Эмиль Насритдинов
(Emil Nasritdinov)

Американский университет
Центральной Азии,
Бишкек, Кыргызстан
emilzn@gmail.com

Состояние антропологии в регионе

Антропология в Центральной Азии — совсем новая дисциплина, которая с недавних

пор пробивает себе путь в академической среде. В советские времена были этнография и археология, которые преподавались как вспомогательные дисциплины на факультетах истории. Выпускники таких программ часто становились учителями истории. Эти науки существенно отличались от классических западных школ антропологии. Исследования, которые проводили советские этнографы, носили очень описательный характер, ученые немного внимания уделяли анализу или дискурсивной рефлексии. Изучались прежде всего этнические традиции и обычаи, которые представлялись как пережитки прошлого, отступающие в историю под натиском советской модернизации. Некоторые темы, такие как религия или этническая идентичность, не приветствовались, потому что были идеологически неприемлемы. От этнографов ожидалось, что они будут помогать государству документировать традиции, нередко с целью искоренения тех из них, которые вступали в противоречие с социалистическими взглядами. Этнология была частью амбивалентной советской национальной политики, которая признавала *национальность* (этничность) только как коллективный маркер в рамках союза, объединявшего различия, в то время как в повседневной жизни использование национального языка и верность национальным традициям крайне не поощрялись.

Первая программа по этнографии была открыта в Кыргызстане в 1978 г. в Киргизском государственном университете на факультете истории. Она была очень близка к археологии и сильно зависела от исследований, которые проводили российские этнографы из Москвы и Ленинграда. В Киргизской академии наук этнографы защищали и до сих пор защищают свои кандидатские и докторские по специальности «история».

После распада Советского Союза новый проект национального строительства проявил большой интерес к этнологии. Как и все остальные центральноазиатские республики, Кыргызстан начал заново открывать свое национальное своеобразие, укорененное в его истории, традициях, религии и национальном языке. Этнологи сыграли ключевую роль в увековечении и превращении в народное достояние таких символических фигур, как Манас, и возрождении элементов традиционной материальной культуры. Исторические сведения о киргизах Енисея послужили свидетельством долгой истории киргизского великодержавия. Однако по большей части эти исторические и фольклористические исследования продолжали советскую традицию примордиального и идеологизированного взгляда на этническую идентичность. Они по-прежнему были описательными и даже еще больше политизировались.

Несмотря на новые идеологические требования, с началом эпохи независимости академические этнографические институты пришли в упадок. Связи с академическими учреждениями в Москве и московское финансирование были утрачены. Карьера в истории и этнографии не могла тягаться в престижности с такими модными областями, как экономика, бизнес, право и т.д. Зарплаты преподавателей держались на кошмарно низком уровне, и многие этнографы, как и представители многих других профессий, нашли себе более прибыльные занятия.

В этом контексте и был открыт новый факультет (department) антропологии в Американском университете Центральной Азии в 2003 г. на базе факультета киргизской этнологии. Позднее он был реорганизован в факультет культурной антропологии и археологии. В 2007 г. началась его переориентация на подход «четырёх дисциплин» под вывеской факультета антропологии и с возможностью преподавания также лингвистической и физической антропологии. В 2009 г. факультет снова изменил свою структуру и от четырёх дисциплин перешел к трем направлениям: социокультурная антропология, история и археология и антропология развития (development anthropology). На сегодняшний день это одна из всего лишь двух¹ программ в постсоветской Центральной Азии, где преподается антропология классической западной традиции с сильным акцентом на анализ, теоретический дискурс и продолжительную полевую работу.

С момента основания факультет подготовил восемь выпусков. Некоторые выпускники продолжили академическую карьеру и получили степени, в том числе четыре PhD. Однако это по-прежнему слишком мало, а преподаватели разрываются между тяжелой учебной нагрузкой, прикладными исследованиями и необходимостью публиковаться. Поэтому на сегодняшний день факультетские показатели публикационной активности, особенно в западных рецензируемых журналах, остаются очень незначительными.

Однако то, что пока не было опубликовано на бумаге, часто произносится вслух. Уже три года на факультете антропологии действует «Антропологический клуб» — площадка для обмена исследовательскими результатами, где встречаются местные и иностранные исследователи, эксперты и активисты. Изначальной целью было популяризовать антропологию в городе через регулярные презентации и лекции, собрать единомышленников, которым интересны антропологические темы, увлечь студентов, а для самих организаторов — лучше понять, что такое антропология.

¹ Другая программа была открыта в 2012 г. в «Назарбаев Университете».

У «Антропологического клуба» не было проблем с поиском докладчиков. Релевантным казалось все. Все больше людей узнавали о нас и хотели что-то рассказать, так что встречи были расписаны на много недель вперед. Свою главную задачу организаторы видели в обнаружении антропологического в том, о чем говорили докладчики. Как можно говорить на любые темы и при этом распознавать, акцентировать и осваивать в них антропологию? Важно было понять метод, содержание и организацию знания, с которым к нам приходили, чтобы сделать его более релевантным для факультета антропологии, пусть даже некоторые докладчики имели антропологическое образование и их темы были исходно антропологическими.

Интересно, что докладчики часто сами пытались провести эту связь, исходя из собственного понимания антропологии. Например, однажды мы пригласили очень известного киргизского кинорежиссера Болота Шамшиева, чтобы он рассказал о «киргизском чуде» в кинематографе 1960-х. Аудитория очень хотела услышать о его опыте в кино, но вместо этого он два часа говорил о сакральной природе эпоса «Манас», о киргизской философии и этимологии, пытаясь сделать доклад, релевантный для антропологической тематики в его понимании. Другие докладчики были не столь прямолинейны и предлагали более тонкие концептуализации киргизской и центральноазиатской культуры.

В следующем разделе я хочу привести примеры нескольких докладов в «Антропологическом клубе», которые, возможно, помогут понять, как конструируются локальные понимания региональной идентичности.

Исследование киргизкости в беседах «Антропологического клуба»

Джамиля Кулова и Мамасадык Багышов из “SmArt Media group” поделились своим опытом работы в медиа, маркетинге и шоу-бизнесе и рассказали о том, какую роль в их бизнесе играет киргизская культура и локальные нормы, традиции, мировоззрение и идентичности. Они задаются вопросами о том, что такое киргизность и что значит быть киргизом. Кто это определяет и задает культурные нормы? Мамасадык и Джамиля стараются избегать буквальных культурных интерпретаций и предпочитают более тонкие и мягкие подходы. Они приводят пример того, как можно поощрять использование киргизского языка. Обычно, говорят они, мы ожидаем, что ответственность за киргизскую языковую политику возьмут на себя правительство и парламент. Но строгие меры, насаждаемые сверху, редко находят отклик у народа. Хорошо бы вместо этого нам всем

принять эту ответственность на себя и задействовать средства, которые лучше воспринимаются людьми. Например, их проект с известной современной киргизской певицей Каныкей — это «крутой» способ продвигать киргизский язык через ее песни, которые слушает киргизская городская молодежь, по большей части русскоговорящая. Как можно сделать киргизский язык и культуру «крутыми» — это большой вопрос.

Медер Ахметов из студии «Музеум» показал на встрече клуба свои фотографии и почитал свои рассказы, в которых он изображает свой город через призму опыта воображаемых персонажей: карлика, великана, кочевника, таракана, воробья, белки и самого коренного горожанина — крысы. Примеряя все эти разнообразные обличья, он дал публике возможность понюхать, потрогать и увидеть Бишкек с самых разных позиций: сверху, снизу, изнутри и снаружи. Разница масштабов и способов восприятия и постижения города помогла зрителям и слушателям деконструировать привычные рамки, через которые мы смотрим на городское пространство. Медер попробовал провести связь между своими идеями и точкой зрения «этно-архитектуры», которая сейчас обрела большую популярность и в которой многие этнические символы задействуются слишком буквально, когда, например, создаются проекты трехэтажных юрт или традиционные киргизские узоры переносятся в дизайн городского ландшафта. Медер предлагает гораздо более тонкий подход к «этно». Так, его идея «номадического» восприятия города уходит от традиционного фокуса на объектах и пространствах между ними, он всматривается в «текстуру» города и его «кожу», например в разнообразные рекламные объявления, которыми сейчас покрыт Бишкек.

Филипп Рейхмут (GIZ¹) спрашивает: «Кто такой “эксперт” и что такое “экспертное знание”?» Согласно его простому определению, эксперт — это человек, чье знание может иметь практическое применение. Филипп критически отзываясь о таких больших локальных концептах, как «Шелковый путь», «Большая игра» и даже «эпос “Манас”». По его мнению, все это ушло в прошлое и имеет мало общего с настоящим, так что когда эксперты пользуются этими словами для описания современной проблематики, их компетентность вызывает у него сомнения. Он полагает, что для понимания региона куда более полезны были бы другие компетенции, которые не имеют ничего общего с традиционными центральноазиатскими клише: знание структуры локальных социальных связей, традицион-

¹ “Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” — немецкая организация, занимающаяся развитием, с длительной историей работы в Кыргызстане.

ных систем ирригации, выражений местной обыденной речи или умение найти общий язык с имамом в мечети.

Антрополог Руслан Рахимов в докладе под названием «Номадизм реальный, номадизм воображаемый» ищет ответ на вопрос, почему и киргизские ученые, и даже сами кочевники до сих пор характеризуют насильственные и репрессивные процессы коллективизации и седентаризации киргизских кочевников в советское время как позитивное движение к прогрессу. Руслан полагает, что постколониальные теории не справляются с объяснением этого парадокса. Вместо этого он использует цепочку «реальное — воображаемое — символическое» Лакана, которая объясняет, как ребенок, глядя на свое отражение в зеркале, начинает идентифицировать себя с помощью тех слов и образов, которые есть в его распоряжении. Точно так же коллективизация и седентаризация, получившие мощную поддержку советской идеологии, стали инструментами, с помощью которых киргизские кочевники создавали свои новые идентичности, заменяя реальность символами.

Эрика Фельдман, аспирант-антрополог из США, провела замечательную дискуссию о хипстерах, мультилингвизме и множественной грамотности среди молодых людей в современном Бишкеке. Внешний наблюдатель, такой как Эрика, поражается, как легко мы переключаемся между языками в нашей повседневной жизни. В Бишкеке почти все билингвы и пользуются по меньшей мере тремя, а то и четырьмя алфавитами: киргизским, русским, английским и турецким. Как и многие лингвисты, Эрика считает язык частью материальной культуры и поэтому интересуется тем, как хипстеры могут использовать язык в качестве ресурса, который помогает им оставаться киргизами и в то же время сохранять инаковость.

Особенно часто в «Антропологическом клубе» поднималась тема киргизов в других странах. Жамбы Джусубалиева представила свой фильм о киргизах в Китае, который она сняла во время долгого путешествия от района Синьцзян на западе через всю страну в восточные уголки Маньчжурии, где киргизы уже говорят не по-киргизски, а по-китайски, 80 % из них практикуют ламаистский буддизм. По пути группа встретила легендарного киргизского манасчи, побывала на праздновании открытия памятника Манасу и поговорила с киргизскими учеными в Пекине. Обсуждались важные вопросы: киргизская идентичность, язык, религия и политика китайского правительства по отношению к киргизам как этническому меньшинству.

Проблему киргизской идентичности поставила и Чолпон Турдалиева в докладе о киргизах провинции Ван в Турции,

которые в 1980-е гг. приехали туда из Афганистана под предводительством знаменитого Рахманкул-хана. Она рассказала, что, хотя киргизов в Турции и немного, в турецком обществе они пользуются признанием и уважением.

Мы с Нурзат Султаналиевой представляли результаты нашего совместного исследования со студентами о том, как киргизы и другие трудовые мигранты из Центральной Азии заселяют городские пространства в России и как различия в городских контекстах влияют на их повседневное выражение своей центральноазиатской и транснациональной идентичности.

Выводы

Эти несколько примеров дискуссий в «Антропологическом клубе» показывают, что местное понимание региона отнюдь не является упрощающим, ориенталистским и эссенциалистским. Напротив, оно многогранно, обладает множеством нюансов и хорошо разработанным дискурсом. Местные антропологи (и не только они) принимают активное участие в конструировании этого знания, а взгляды иностранных исследователей и экспертов проходят проверку и локализацию в бурных дискуссиях с местной аудиторией клуба. Анализ этих докладов и дискуссий показывает, что, хотя на сегодняшний день мы немного можем опубликовать, у нас есть локальные платформы, такие как «Антропологический клуб», где происходит конструирование и реконструирование знания о центральноазиатском регионе и региональной культуре и идентичности. Можно надеяться, что по мере того как появляется все больше киргизских антропологов, которые получили степени за рубежом, будет достигнута критическая масса, необходимая, чтобы повысить долю академических работ, которые публикуются внутри региона.

Интересно, что в процессе создания знания о Центральной Азии участвуют главным образом местные и западные (европейские и американские) исследователи и эксперты. Российской науки просто нет на этой сцене: очень немногие российские исследователи (состоявшиеся ученые или аспиранты) приезжают в Кыргызстан проводить полевую работу, их гораздо меньше, чем западных ученых. Российские исследователи изучают центральноазиатских мигрантов в России, и я думаю, что именно отсюда проистекает интерес к транснациональной Центральной Азии, который нашел отражение в этой теме «Антропологического форума». Однако, возвращаясь к вопросам «Форума», о которых я уже сказал несколько слов во введении, могу только заметить, что, если российские исследователи не приезжают в регион, это не значит, что его не существует.

Сейчас появляется новая центральноазиатская наука. Ей удалось уйти от традиционной этнографии в советском стиле. Когда ее новый голос достаточно окрепнет — вопрос только времени. А когда это случится, я надеюсь, что его услышат и в Санкт-Петербурге.

Пер. с англ. Александры Касаткиной

БОРИС ПЕТРИК

Прежде чем перейти к разговору о Центральной Азии, я предлагаю начать с более общего обзора разделения обществ на «культурные ареалы». Кое-какие дебаты на эту тему начались в США в конце 1970-х гг. с появлением хорошо известного текста «Ориентализм», написанного Эдвардом Саидом [Saïd 1978], который вышел не из антропологического, а скорее из литературоведческого поля. Саид привлекает внимание к той роли, которую сыграли исследователи (географы, лингвисты, востоковеды, антропологи) в упрощении картины социальной реальности. Восток создается, чтобы служить фоном для демонстрации превосходства Запада. Востоковеды заняты конструированием географических разделений, чтобы легитимировать колониальные разделы и политическое доминирование. Саид критикует оппозицию Восток / Запад или «Магриб / Машрик», которая придает французскому и британскому колониальному доминированию видимость справедливости.

Этот текст получил очень разные отклики от разных аудиторий, в зависимости от дисциплины и университета. Как бы то ни было, для зарождающейся дисциплины постколониальных исследований в США он стал ключевым. Он также дал импульс новой антропологии, которая стремится деконструировать и критически исследовать другие классические идеи. Класс, культура, этническая группа или нация — все эти понятия стали мишенью конструктористов (таких как Барт [Barth 1969], Геллнер

Борис Петрик (Boris Petric)

Национальный центр научных исследований / Центр Норберта Элиаса / Высшая школа социальных наук, Марсель, Франция
borispetric@yahoo.fr

[Gellner 1983], Хобсбаум [Hobsbawm, Ranger 1983], Андерсон [Anderson 1983]), которые существенно изменили антропологический взгляд на социальную реальность. На этой же волне в США разгораются другие важные дискуссии, включая критические движения, восходящие к влиятельным книгам Клиффорда и Маркуса [Clifford, Marcus 1986], Аппадурай [Appadurai 1996], Гупты и Фергюсона [Gupta, Ferguson 1997]. Все упомянутые исследователи задаются вопросом о том, как определять объект исследования: можно ли разделить общества на Север / Юг, развитые / неразвитые? Должна ли антропология ограничиться только изучением сельского, племенного, «этнического»? В этих дебатах затрагиваются также вопросы рефлексивности и объективности в конструировании данных и пространственных ограничений исследования.

Все эти дискуссии отлично стимулируют процесс реконфигурации дисциплины и вынуждают подвергать сомнению границы, проводимые между культурными ареалами. Они также влияют на организацию дисциплинарных разделений и подготовку исследователей. Возможно, самое значительное следствие этих дебатов мы можем наблюдать в бесконечных спорах о том, как нам определять объекты наших исследований. Каковы их границы? Можно ли изучать общество, культуру как изолированное единство, согласно списку объективных общих характеристик (язык, обычаи), или антропология должна заниматься социальными связями? В эпоху глобализации, для которой характерно беспрецедентное разрастание транснациональных сетей и потоков, эти дискуссии затрагивают и отношения с другими дисциплинами, в частности с социологией. Как сегодня оправдать отдельное существование социологии и антропологии?

Во Франции идеи Эдварда Саида привлекли внимание лишь на периферии. В то время французские антропологи существовали согласно трем организационным логикам: во-первых, они могли, наряду с другими специалистами, работать в центре, занятом изучением определенного культурного ареала, во-вторых, они могли числиться в лаборатории, состоящей только из антропологов, и заниматься сравнением разных обществ в разных культурных ареалах, и в третьих, — принадлежать лаборатории, которая специализируется на конкретной теме (религия, политика и т.п.).

В конце 1990-х гг. некоторые французские антропологи оспорили оппозицию, предложенную Леви Стросом, который различал *société froide / société chaude, société exotique / société moderne* (холодные / теплые, экзотические / современные общества). Марк Оже считает необходимым осмыслить но-

вую антропологическую антропологию — антропологию современного (anthropologie du contemporain). Он полагает, что сравнение не имеет смысла, и предлагает, чтобы антропология изучала и так называемые экзотические общества, и современные.

Очень немногим антропологам (за исключением, например, Фредерика Барта и некоторых других) на протяжении карьеры доводилось работать в разных культурных ареалах, большинство оставались специалистами по одному обществу или одному культурному ареалу. В основном они специализировались на Западной Африке — бывших французских колониях. Французские антропологи противопоставляли Западную Африку Восточной и предполагали, что среди бывших французских и британских колоний существует некоторое единообразие. Такие оппозиции поддерживали типологический подход к анализу социальных и политических систем или систем родства, в то время как анализ циркулирующих идей, людей или товаров занимал маргинальную позицию. В результате социальным явлениям, которые локализованы вне названных географических областей, внимания уделялось немного.

В последние двадцать лет появляются работы, авторы которых демонстрируют необходимость выйти за пределы культурных ареалов, чтобы понять большие социальные трансформации: транснациональные мусульманские или протестантские сети, транснациональные торговые отношения между Китаем и Африкой, феномен миграции внутри Африки и вовне.

Еще один результат разделения социальной реальности на культурные ареалы — отсутствие отчетливого понимания, насколько колониальное присутствие на самом деле проникло в местную социальную жизнь. Исследователи пытались описывать «чистые» традиционные системы, а колониальные отношения воспринимали как внешнее по отношению к ним явление. Несмотря на работу Жоржа Баландьё [Balandier 1994] о влиянии колонизации на социальные науки и появление антропологии современности при поддержке Марка Оже [Augé 1994], многие социальные явления не были изучены. Лучший пример — «Франция / Африка» (“*France / Afrique*”, по-французски это звучит как сленговое выражение *France à fric*), сложная система отношений между представителями африканских и французских элит (экономических, военных и политических), которая устанавливает между ними тесные социальные связи и поддерживает различные формы неформальной солидарности. Эта система также создает специфические формы власти, которые оказывают влияние на некоторые аспекты политической жизни и в Африке, и во Франции. Для

большинства французских антропологов такого рода явления остаются «слепым пятном».

Манчестерская школа, ориентируясь на статью Макса Глакмана «Мост» [Gluckman 1940], прикладывает усилия, чтобы изменить это восприятие социальной реальности. Глакман представляет колониальную власть как систему, встроенную в реальность зулу. Антропологический подход, который описывает только чистую «традиционную культуру зулусов», больше не имеет смысла. Этот аргумент, однако, пока не получил широкого распространения и применяется только в таких областях, как, например, изучение циркулирующих африканцев в британском обществе.

В условиях, когда нужно было любой ценой сконструировать единую группу, изолированное единство, исследователи циркулирующих занимали маргинальную позицию, независимо от того, изучали они движения между колониями или между Восточной и Западной Африкой. Сейчас все более очевидной становится актуальность этих вопросов и для понимания социальной реальности современной Африки, и для изучения истории XIX и XX вв. Релевантны эти дебаты и для других дисциплин: историки теперь тоже задают вопросы о способах проведения границ во времени и пространстве.

Конец холодной войны и транснационализм

Я привел пример с Францией и Африкой, потому что это сравнение полезно для понимания периода, когда Российская Федерация начала задаваться вопросами об уместности центральноазиатских исследований и месте антропологии среди наук о человеке. Я не призываю проводить аналогий между французской колонизацией и советским опытом, а только хочу показать, как структуры власти влияют на организацию науки и культурных ареалов.

Все упомянутые дебаты в США и Европе затрагивают и Центральную Азию. Окончание холодной войны — важное событие, которое требует анализа циркулирующих: людей (теперь можно не ограничиваться только миграциями), воображаемого (с учетом той роли, которую играет телевидение, кино, интернет) и вещей (товаров, денег и т.д.). В этом контексте антропология сохраняет релевантность благодаря своему подходу к сбору данных. Эта дисциплина основана на познании через погружение в социальную реальность, чтобы понять язык, культуру, историю через бесконечное наблюдение за людьми и их разговорами. Эти «участвующие наблюдения», микро-социальные и качественные исследования становятся ориги-

нальными и полезными для понимания социальной реальности, как только антропология обретает способность конструировать мультилокальные (multi-sited) исследовательские поля, следуя тем потокам, которые бурлят в эпицентре социальных изменений.

Это значит, что исследование на микроуровне не нужно путать с исследованием локального. Антропологи конструируют свои данные в поле через продолжительное наблюдение социальных практик. Этот микросоциальный подход противопоставляется другим научным подходам, основанным на анализе нормативности, дискурса и текста. Антропология фокусируется не на культуре как закрытом и изолированном единстве, а скорее на том, как устроены социальные связи в конкретных местах. Поэтому те, кто проводит подобные эмпирические исследования, должны принимать во внимание появление новых транснациональных социальных связей, чтобы понимать трансформации социальной реальности и учитывать роль масштаба.

Что касается центральноазиатских исследований, здесь эмпирические подходы занимают отчетливо маргинальную позицию. В литературе до сих пор преобладают спекулятивные количественные и макроподходы, практикуемые политическими науками и транзитологией. Это доминирование можно объяснить несколькими причинами. Центральная Азия для антропологии и социологии, за исключением советской школы этнографии, была чем-то вроде *Terra Incognita*. Открытие постсоветского пространства произошло в то самое время, когда антропология закончила исследовать Земной шар и почти завершила создание полного реестра культурного разнообразия. Эта концепция антропологии как дисциплины, которая изучает «вымирающие культуры», сейчас тоже устарела, и антропология понимается как дисциплина, которая изучает современность и социальные трансформации. И как раз когда разгорались эти дебаты, социальные антропологи наконец получили доступ к «советскому полю».

Первые западные антропологи [Humphrey 1983] начали работать в Советском Союзе в начале 1980-х, когда в научных дискуссиях о советском обществе доминировали ученые, которые были вынуждены применять макросоциологический подход, основанный на доступных вторичных данных — статистике, опубликованных текстах, идеологии и институциях. Они сосредоточились на нормативности. Очень немногие исследователи (например, Беннигсен) использовали оригинальные источники, скажем, локальную прессу, для понимания социальной реальности. Беннигсен поработала с трудами советских

этнографов и показала, как они описывали сохранявшиеся социальные формы при помощи идеи «пережитков». Это ключевое понятие стало исследовательской стратегией, заимствованной у советских ученых, чтобы описывать преобладание некоторых социальных практик в советской Центральной Азии.

После распада СССР транзитологи, востоковеды и специалисты по советским исследованиям (*Soviet studies scholars*) по-прежнему предпочитают изучать социальные нормы. Чтобы понять постсоветскую Центральную Азию, они исследуют новые институты, новые официальные дискурсы. Микроподходы и изучение социальных практик остаются маргинальными. И все же после «Хлопкового дела»¹ в Узбекистане мы начали осознавать необходимость проводить различие между нормативным дискурсом официальных институций и реальностью социальных практик. Не институционализированные практики, такие как «блат», «параллельный ислам», клиентелизм (местничество), основанные на неформальных взаимоотношениях, стали тогда предметом внимания писателей и журналистов, но не антропологов. Очевидно, что эти социальные сети — не специфический для Центральной Азии культурный паттерн, а социальная логика всей советской системы. Как и в случае с «Францией / Африкой», эти практики существовали не на периферии, а в самом сердце социальной реальности.

И «постсоветологи», и транзитологи по-прежнему настаивают на роли институтов, важности идеологии, государства и нации. Как замечают Буравой и Вердери [Burawoy, Verdery 1999; Burawoy 2000], чтобы понять «эволюцию обществ», необходимо изучать макроструктуры. Большинство ученых, работающих в этом культурном ареале, считают себя прежде всего специалистами по региону, а не представителями какой-либо дисциплины, и таким образом обосновывают возможность макроаналитических исследований в широких временных и пространственных рамках. Сфера их компетенции обычно распространяется на все пять республик Центральной Азии, на различные области социальной жизни и широкий разброс исторических периодов. Они часто позиционируют себя так, будто могут анализировать очень разные социальные явления на разных отрезках истории.

Бесчисленные политологи, которые не являются специалистами по Центральной Азии, несколько иным образом монополи-

¹ Имеется в виду серия уголовных дел о коррупции и других злоупотреблениях, расследование которых проводилось в Узбекской ССР в 1970–1980-х гг. [Прим. пер.]

зировали изучение региона и «импортируют» сюда количественные методы, которые использовали в других географических ареалах. Например, они стремятся выделить разные формы конфликта, фокусируясь на этнической идентичности и исламе. Другие политологи предпочитают дискурсивный подход и изучают природу политических систем в Центральной Азии, анализируя идеологический дискурс и личности президентов. Сосредоточенность на конфликтах и исламе уже привела к изобретению мифов, например о том, что Ферганская долина — это бомба замедленного действия региона. Все эти подходы обладают одной общей особенностью спекулятивного анализа: они часто стигматизируют недемократический и авторитарный характер политических систем, не пытаются прояснить сложность социальных механизмов, которые создают такие формы политической власти. Этот тип спекулятивного анализа неверно использует такую категорию, как «гражданское общество», описывая его как нечто естественное и добродетельное, но подавляемое плохим коррумпированным государством [Vaugh 1999].

Антропология ставит перед собой другие цели. Цитируя Макса Вебера, социолог и антрополог должны описывать общество «таким, какое оно есть», а не предлагать, «каким обществу следует быть». Различные антропологические исследования государства (Абелес, Херцфельд, Гупта или Фергюсон) показывают, что это не абстрактная изолированная институция, а прежде всего продукт деятельности общества и человека. Идея о том, что гражданское общество существует в оппозиции государству, — это искажение [Hann, Dunn 1996], которое никоим образом не помогает понять общества, опутанные сетями, встроенными в государственные институты. Это не специфическая черта центральноазиатских обществ. Антропологи и социологи, которые работают в других культурных ареалах, наблюдали те же самые явления.

Необходимо также подчеркнуть, что постсоветская Центральная Азия столкнулась с парадоксальной ситуацией, которую я бы назвал процессом открытия / закрытия. Связи, которые раньше направляли движение потоков внутри советского пространства, внезапно исчезли. Например, производство хлопка в Узбекистане или овечьей шерсти в Кыргызстане больше не связано с советской экономикой. С одной стороны, это было похоже на «ночной кошмар»: шел мощный импульс закрытия и ограничения. С другой стороны, это же была и точка зарождения новых потоков и социальных отношений в глобальном масштабе. Первые проблески этих новых возможностей можно заметить в интеграции Узбекистана в глобальную текстильную индустрию, в развитии региональной торговли между Кыргыз-

станом и Китаем или в роли, которую играет Казахстан в мировом производстве бензина.

Исследователи в экономической сфере заняты главным образом переходом от плановой экономики к рынку. Ориентируясь на заранее известную модель перехода, они часто переоценивают роль государственной политики и недооценивают важность стратегий отдельных акторов, которые в несколько измененном виде сохранились с советского времени.

Макроэкономические подходы сосредоточены на дискурсах государства. Из мелких стратегий, стоящих у истоков больших социальных явлений, в фокусе их внимания зачастую оказываются только нелегальные практики, такие как коррупция или контрабанда. Между тем в Центральной Азии в изобилии встречаются формы «освоения» общественных ресурсов или «присвоения» (“catching”) ресурсов внешних. Поэтому изучение потоков и циркуляций необходимо, чтобы описать появление новых социальных групп и связей между Центральной Азией и другими частями мира.

Не менее влиятелен в дебатах о постсоветской Центральной Азии «востоковедческий» («ориенталистский») дискурс. Часто в его основе лежат натурализованные и эссенциализированные категории, такие как «традиция», «культура», «ислам», «этническая группа», «нация». Эти подходы отдают предпочтение анализу норм, дискурса и текстов и не придают или почти не придают значения наблюдению социальных практик.

После перестройки основным источником эмпирических данных стали дотошные журналистские расследования, выведившие на свет социальные практики, которые до сих пор ускользали от внимания социологии или антропологии. Можно привести в пример книгу Ваксберга [Vaksberg 1991], где мастерски продемонстрировано распространение клиентелистского общества и важность социальных связей, для которых сам автор использует термины «ЗИС» (“ZIS”) и «блат». Невозможно игнорировать и вклад, сделанный писателями и кинорежиссерами. Однако в последние 15 лет ситуация меняется и антропологические работы на эти темы начинают появляться.

Использование категории «Центральная Азия» в качестве научной концепции, которая призвана организовать те или иные исследовательские альянсы, весьма проблематично. Эта географическая категория по-прежнему определяет, как некоторые ученые конструируют объекты своего научного интереса. Социальные отношения (родство, дружба, религиозная принадлежность и проч.) меняются вместе с изменением

иерархической структуры пространства. Поэтому отношения Центральной Азии с «постсоветским» пространством и, шире, со всем остальным миром в эпоху глобализации необходимо пересмотреть. Расширение глобальных потоков людей, образов и вещей — социальная реальность сегодняшнего дня. Эти потоки могут или порождать новые формы доминирования и неравенства, или создавать неожиданные формы усиления, новых возможностей и реапроприации. Чтобы понять специфику текущего исторического периода, который мы называем глобализацией, можно объединиться с историками региона и заняться новыми компаративными исследованиями.

Более того, Центральная Азия не только занимает позицию пассивного получателя в транснациональных сетях, но и сама производит и поддерживает перечисленные явления. Казахстан играет важную роль в нефтяной отрасли, но, помимо этого, там стремительно развивается сталелитейная промышленность (в условиях присутствия глобальных корпораций, таких как «Миттал»). Можно вспомнить и о важности узбекского производства хлопка для мировой текстильной экономики, а также подчеркнуть важность «макового» (опиумного) производства Афганистана для глобального рынка героина. Эти локальные экономические процессы включены в глобальные сети, которые необходимо принимать во внимание, если мы хотим уловить местные реалии.

Идея транснационализма предлагает нам более широкий круг проблем, чем роль государства в организации жизни общества. В советское время государство стремилось создавать и регулировать потоки людей, информации и образов посредством пропаганды и цензуры, а потоки вещей — через закрытие своего экономического пространства и планирование экономики. Современные государства Центральной Азии вынуждены отказаться от подобных амбиций, даже в таких наиболее радикальных случаях, как Узбекистан или Туркменистан. О чем бы там ни мечтали правительства, неподконтрольные государствам циркуляции уже совершенно изменили социальную реальность.

Иногда «транснациональное» сводится к явлениям, связанным с преступлениями, контрабандой, подпольной или противозаконной деятельностью. Точно так же идущие интенсивные циркуляции иногда неверно интерпретируются как форма разрыва связи между общественной организацией и территорией, тогда как на самом деле государство не столько распадается, сколько видоизменяется. Это означает, что нам нужно предложить новую парадигму, чтобы понять, как организована ар-

тикуляция и встроенность (embeddedness) социальных пространств и связей в разных масштабах.

Например, в последнее время роль государства меняется в связи с развитием региональных и международных организаций, распространением неправительственных организаций или фондов. Это подводит нас к вопросам о том, как сейчас осуществляется власть, как в современных центральноазиатских обществах конструируется легитимность и суверенитет. Нам стоит снова обратиться к идее разнообразия политических пространств [Pétric 2005] и новых форм устройства управляемости (governmentality) [Pétric 2015] в эпоху глобализации.

Это особенно заметно в случаях Кыргызстана и Таджикистана, где присутствуют великие державы (США, Россия, ЕС, Китай) и где вовлеченные в регулирование потоков международные институты, сети неправительственных организаций и фонды совершенно изменили социальные границы. В своих недавних работах Мадлен Ривз [Reeves 2014] и Магнус Марсден [Marsden 2005] предлагают взгляд из другой перспективы, демонстрируя, как теперь «границы» не столько разделяют общество, сколько выступают как области взаимодействия различных потоков.

Привлечение новых идей в последние годы вынуждает критически пересмотреть валидность имеющегося концептуального наследия. Постмодернистская позиция, пришедшая главным образом из США, несомненно, помогает сделать наш подход более рефлексивным. Это не значит, что мы теперь откажемся от классических парадигм, например от ключевых понятий обмена и дара из классических работ Маршалла Салинза. В частности, именно Салинз показывает, что мир-система производит неожиданные комбинации [Sahlins 2007]. Когда глобальные потоки вплетаются в локальные культурные паттерны, последствия распространения капитализма могут оказаться совершенно непредсказуемыми. Центральными категориями для понимания социальных изменений по-прежнему остаются родство, брак и дружба. Но нужно принимать во внимание и новые формы социальных связей.

Идея потоков и сетей не сводится к экономике. С ее помощью можно описывать не только перемещения людей, но и присутствие таких акторов, как эксперты по развитию, религиозные миссионеры, члены неправительственных организаций, которые способствуют изменениям в локальной социальной жизни. Это значит, что необходимо «плотное» описание этих потоков, чтобы заново очертить их исторический контекст и увидеть, как они зарождаются, не сводя эту проблематику к простым вопросам импорта или экспорта.

Похожую аналитическую рамку можно, конечно, применить и к другим потокам: появлению религиозных движений, локальным восприятиям зарубежных телевизионных программ [McBrien, Pelkmans 2007], производству так называемой традиционной музыки [Zevaco 2012]. Для этого подхода недопустимо чрезмерное увлечение оппозициями «локальное / глобальное», «свой / чужой», «гражданин страны / иностранец», «сельский / городской», поскольку они не помогают понять текущие социальные изменения [Liu 2003].

Сфокусированность на циркуляциях может помочь и в изучении изменений в обществах, которые переживают рост урбанизации и массовый исход из деревень. Более того, образование диаспор и сложные миграционные процессы формируют «территории циркуляций» (“circulatory territories”) [Tarrius 2002] между Россией и Центральной Азией и другими регионами мира, меняя таким образом локальные реалии. Для понимания миграций больше не годится образ мигранта, который решительно обрубает все связи с родиной [Monsutti 2005]. После публикации работ [Portes 1997; Monsutti 2005; Tarrius 2002] социологи и антропологи используют концепт “remittances”, чтобы лучше понимать и анализировать передвижения мигрантов между несколькими территориями.

Реальная картина опровергает широко распространенное убеждение первых лет независимости: связи между Центральной Азией и Россией считались тогда «искусственными» и обреченными на скорое исчезновение. Анализ циркуляций и потоков также привлекает внимание к новым формам барьеров, границ (физических или социальных) и подчеркивает существование людей, идей и вещей, которые остаются неподвижными или, в силу обстоятельств или физической невозможности, не могут двигаться.

Все названное играет важную роль в будущих изменениях конфигурации границ между дисциплинами (социология / антропология) и самого устройства научного исследования. Разрешение споров о разделении изучаемых территорий на культурные ареалы зависит также от эпистемологических дискуссий, касающихся изучения различных аспектов социальной реальности. С учетом этой рефлексии подготовка исследователей по-прежнему должна быть основана на изучении языков и истории, но не должна ими ограничиваться. Необходимо принимать во внимание крупные направления эпистемологической мысли последних десятилетий, которые складывались вокруг использования определенных понятий и методологических рефлексий. Тогда рефлексивность антрополога по

отношению к объекту его или ее исследования оказывается определяющей и приобретает этическое измерение. Эта рефлексия подразумевает, что мы понимаем, какое место наша работа может занять внутри отношений власти, и постоянно помним о риске инструментализации.

Возвращаюсь к моему сравнению с французским контекстом. Французские антропологи-«африканисты» потому не описывали явление «Франции / Африки», что они часто находились в самом сердце этих отношений власти. Одни исследователи занимали посты консультантов / экспертов при французском правительстве, другие были советниками африканских президентов. Как можно в современном контексте, будучи директором Института этнологии Академии наук, стать министром по делам национальностей при Президенте России? Как может американский антрополог одновременно анализировать социальную реальность Центральной Азии и консультировать правительство в Вашингтоне или выступать в качестве эксперта для международного агентства или неправительственной организации, которая стремится изменить социальную реальность?

Антропологам следует смириться с некоторой маргинализацией и держаться подальше от этих проблем власти. Это соображение касается и деления на культурные ареалы, которое может создать «слепые пятна» (зоны, недостижимые для взгляда исследователей, ограниченных своими ареалами) или привести к непредвиденным последствиям.

Не нужно полностью отвергать существование культурных ареалов. Однако более невозможно мириться с делением обществ на развитые / неразвитые, Север / Юг, Восток / Запад и с использованием этих оппозиций для сравнений между всеми современными обществами. Историк Кеннет Померанц в блестящей работе «Великое расхождение» [Pomeranz 2001] показывает, как великие классики политической экономики (Смит, Маркс) и социологии (Вебер) использовали проблематичные понятия, появившиеся в результате неверного представления о Востоке. Эта книга — предложение отказать от воспроизводства этих ошибок. Наше представление об обществе меняется, и чтобы главным предметом нашей рефлексии стали изменения в современных обществах, необходимо принимать во внимание циркуляции и транснациональные сети. Это также и предложение подумать о том, как проводить компаративные исследования, чтобы не ограничиваться дискуссиями между специалистами по определенному культурному ареалу, но смотреть и на связи между обществами и сравнивать похожие явления в разных куль-

турных ареалах. Сравнения миграций, транснациональных религиозных движений, транснациональных экономических логик тоже могут оказаться многообещающими направлениями исследований. Сравнение обнажает самую суть нашей рефлексии: понять уникальность каждого общества, не забывая об универсальном измерении социальных явлений. Выражаясь словами Марселя Детьена [Detienne 2000], это предложение «сравнить несравнимое», чтобы воображение и творческий подход повели за собой исследовательские начинания.

Библиография

- Appadurai A.* *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization.* Minneapolis: Minneapolis University Press, 1996. 229 p.
- Augé M.* *Pour une anthropologie des mondes contemporains.* P.: Aubier, 1994. 195 p.
- Balandier G.* *Le dédale. Pour en finir avec le XXème siècle.* P.: Fayard, 1994. 236 p.
- Barth F.* *Ethnic Groups and Boundaries, the Social Organization of Culture Difference.* L.; Bergen; Oslo: Univ. Sforlaget, 1969. 153 p.
- Burawoy M., Verdery K.* (eds.). *Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Post-Socialist World.* N.Y.; Oxford: Boulder, 1999. 322 p.
- Burawoy M.* (ed.). *Global Ethnography.* Berkeley: University Press of California, 2000. 408 p.
- Clifford J., Marcus G.* (eds.). *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography.* Berkeley; Los Angeles; L.: University of California Press, 1986. 305 p.
- Detienne M.* *Comparer l'incomparable.* P.: Le Seuil, 2000. 144 p.
- Gellner E.* *Nations and Nationalism.* N.Y.: Cornell University Press, 1983. 150 p.
- Gluckman M.* *Analysis of a Social Situation in Modern Zululand // Bantu Studies.* 1940. Vol. 14. No. 1. P. 1–30.
- Gupta A., Ferguson J.* *Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science.* Berkeley: University of California Press, 1997. 275 p.
- Hann C., Dunn E.* (eds.). *Civil Society: Challenging Western Models.* L.: Routledge, 1996. 248 p.
- Hobsbawn E., Ranger T.* *The Invention of Tradition.* L.: Cambridge University Press, 1983. 320 p.
- Humphrey C.* *Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm.* Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 522 p.
- Liu M.* *Detours from Utopia on the Silk Road, Ethical Dilemmas of Neoliberal Triumphalism // Central Eurasian Studies Review.* 2003. No. 2. P. 2–10.

- Marsden M.* Living Islam: Muslim Religious Experience in Pakistan's North West Frontier. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 314 p.
- McBrien J., Pelkmans M.* Turning Marx on his Head: Missionaries, "Extremists" and Archaic Secularists in Post-Soviet Kyrgyzstan // Critique of Anthropology. 2007. Vol. 28. No. 1. P. 87–103.
- Monsutti A.* War and Migration: Social Networks and Economic Strategies of the Hazaras of Afghanistan. N.Y.; L.: Routledge, 2005. 252 p.
- Pétrie B.* Post-Soviet Kyrgyzstan or the Birth of a Globalized Protectorate // Central Asian Survey. September 2005. Vol. 24. No. 3. P. 319–332.
- Pétrie B.* Where are All Our Sheep: Kyrgyzstan a Global Political Arena. N.Y.: Berghahn Press, 2015. 185 p.
- Pomeranz K.* The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy. Princeton: Princeton University Press, 2001. 392 p.
- Portes A.* Globalization from below: The Rise of Transnational Communities // Working Paper Series (University of Oxford Transnational Communities). 1997. Vol. 98. No. 8. 52 p.
- Reeves M.* Border Work. Spatial Lives of the State in Rural Central Asia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2014. 292 p.
- Sahlins M.* Cosmologies of Capitalism: the Trans-Pacific Sector of the World System // Proceedings of the British Academy. 1988. Vol. 74. P. 1–51.
- Saïd E.* Orientalism. N.Y.: Vintage Books, 1978. 368 p.
- Tarrius A.* La mondialisation par le bas: les nouveaux nomades de l'économie souterraine. P.: Balland, 2002. 220 p.
- Vaksberg A.* The Soviet Mafia. L.: Wedenfield and Nicolson, 1991.
- Waugh R.M.* (ed.). Civil Society in Central Asia. Washington: Washington University Press, 1999. 320 p.
- Zevaco A.* Réseaux, espaces et représentations: le musicien tadjik, persan et soviétique // Ducloux A., Gorshenina S., Jarry-Omarova A. (eds.). Anthropologie des réseaux en Asie centrale. P.: CNRS Editions, 2012. P. 201–231.

Пер. с англ. Александры Касаткиной

МАДЛЕН РИВЗ

**След, траектория, точка давления:
как переосмыслить «региональные
исследования»¹ в эпоху миграций²**

Когда прошлым летом я работала в московских библиотеках и заночевала у Альбины, моей киргизской знакомой, рано утром меня разбудили звуки разговора. Надежно приклеившись к телефону, Альбина обсуждала со своим мужем какую-то «американку». Последние девять лет она почти безвыездно жила в Москве и работала по 60 часов в неделю на трех работах гинекологом в частных клиниках, в то время как ее муж находился в Бишкеке, присматривая за ремонтом новой квартиры в одной из новых городских так называемых «элитных» высоток, которую они купили на свои российские заработки.

Я задумалась, кто же была эта «американка», которую они обсуждали? Может быть, еще одна исследовательница? А может, Альбина нашла кого-то, чтобы улучшить свой английский? Но, судя по репликам Альбины, эта «американка» была слишком «пупырчатой» и «изолированной». Это явно было что-то неодоушвленное.

Выбравшись из постели и заглянув туда, где Альбина слилась со своим смартфоном, я поняла, что Альбина и Кайрат говорили не о новой американской знакомой, а о марке обоев: они выбирали их для своей квартиры. С помощью «Вайбера», одного из тех мобильных приложений, которые становятся

Мадлен Ривз (Madeleine Reeves)

Университет Манчестера,
Великобритания
madeleinereeves@gmail.com

¹ “Area studies” и “regional studies” в английской традиции означают приблизительно то же, что по-русски называется «региональными исследованиями». Сложно подобрать русские эквиваленты, чтобы отразить различие между двумя названиями. «Ареальными исследованиями» по-русски называются исследования, основанные на идее культурных ареалов и связанные с изучением географического распространения лингвистических или культурных явлений, поэтому этот перевод не очень подходит для “area studies”, которые понимаются шире — как всестороннее изучение географического региона. Поэтому здесь “area studies” будет переводиться как «региональные исследования», а в случаях, когда важно противопоставление “area studies” и “regional studies”, в скобках будут указаны оригинальные названия [Прим. пер.].

² Пленарная лекция в Обществе изучения Центральной Евразии (CESS) 16 октября 2015 г.

неотъемлемой частью инфраструктуры транснационализма между Кыргызстаном и Россией, Кайрат и Альбина обсуждали деталь своего домашнего ремонта. Кайрат, будучи в Бишкеке на рынке, фотографировал и загружал онлайн образцы обоев, которые ему нравились. Альбина отвечала текстовыми сообщениями, при необходимости добавляя краткие телеграфные комментарии вслух. Вся их новая бишкекская квартира, вплоть до сантехники, напольного покрытия, краски и кухонных принадлежностей, прошла через это обсуждение в фотографиях, обмене сообщениями и бесплатных телефонных разговорах. Тем утром беседа продолжалась в таком же духе еще около 40 минут, пока не была достигнута окончательная договоренность о качестве бумаги и сочетаниях цветов.

С тех пор, как за несколько месяцев до этого Кайрат уехал в Бишкек, «Вайбер» служил постоянным фоном для жизни каждого из этих двоих. Альбина размышляла о том, как изменилось устройство ее связи с домом за то десятилетие, что она работает в России. Сначала у них не было никакой мобильной связи, ни с ее родителями, ни с родителями Кайрата; контакт удавалось поддерживать, только созваниваясь раз в две недели с родственником в Оше, который, в свою очередь, звонил их семьям в Баткенский район. Теперь Кайрат начинает нервничать, стоит Альбине несколько часов не выйти на связь.

* * *

Вот уже два десятилетия исследователи транснационализма изучают плотность связей, которые поддерживают транслोकальную близость в контексте затянувшихся миграций [Basch, Glick Schiller, Szanton Blanc 1994]. Повседневный опыт Кайрата и Альбины здесь не является чем-то исключительным: их жизнь включает привычные и неосознаваемые переключения между языками (в данном случае, русским и киргизским), валютами, часовыми поясами, административными правилами, паспортами и гендерными моделями поведения. Но если транснационализм подразумевает эмоциональную привязанность к обеим точкам на карте, то для Кайрата и Альбины Баткен остается домом и по моральным убеждениям, и в воображении (*morally and imaginatively*). Во время одной из наших продолжительных бесед, когда я только познакомилась с ним четыре года назад, Кайрат сказал мне: «Даже с российским паспортом мы все равно здесь *черные*». Москва, по крайней мере для Кайрата, никогда не была настоящим домом.

Я начала с этой небольшой зарисовки, чтобы прояснить, о чем бы я хотела поговорить в этом тексте, а именно, как мы могли бы переопределить региональные исследования (*area*

studies) в эпоху массовых миграций и медиализованного транснационализма. Миграция не оторвала Кайрата и Альбину от родины. Напротив, поразительно, до какой степени вложения их заработков артикулируют связи с разными точками Кыргызстана: с деревней родителей Кайрата, с Баткеном, где они собираются отдать в школу свою дочь, с Бишкеком, где доход от сдачи новенькой квартиры должен подстраховать их на случай продолжения кризиса рубля. Но их надежды и мечты, экономические стратегии, заработки и даже режимы коммуникативной близости невозможно отделить от того факта, что они живут одновременно в двух социальных полях на расстоянии 3 000 км. Что могут региональные исследования сказать об этом? Или о миллионах других биографических траекторий и способов добычи средств к существованию, что бросает вызов нашему методологическому регионализму?

Думаю, что вызов для региональных исследований здесь не только в том, что такие люди проживают свои жизни поверх границ конвенционального регионального деления мира. (Хотя, конечно, и это проблема: Скотт Леви красноречиво описывал, как научные руководители пытались отговорить его от изучения индийских торговцев в Центральной Азии, потому что такой проект «не вписывался» в конвенциональные рамки региональных исследований [Levi 2004].) В конце концов, региональные исследования уделяют много внимания миграции из перспективы сообществ-«отправителей» или «получателей» (бинарная оппозиция, которая до сих пор предполагает только одно возможное место происхождения или назначения).

Я бы предложила подумать о более фундаментальном вопросе — о том, как региональные исследования склонны представлять само пространство, и о влиянии, которое это оказывает на наши исследования и на то, какие вопросы мы задаем. Мне кажется, что региональные исследования часто оперируют несколько атеоретичным пониманием пространства как плоского, инертного, изоморфного, ограниченного, представляя его как двумерную платформу, на которой проходит общественная жизнь. На мой взгляд, это влияет и на те вопросы, которые мы ставим, и на нашу способность к диалогу с исследователями из других областей. Что, если мы попробуем, говоря словами Дорин Мэсси, рассматривать пространство как живое (*lively*)? Т.е. не как ровную статичную поверхность, где разворачивается действие, а как «сферу динамической одновременности, которая постоянно распадается под воздействием возникающих новых элементов и в любой момент может быть определена заново конфигурацией новых отношений» [Massey 2005: 107].

Другими словами, можем ли мы вообразить «региональные исследования», не привязываясь к категории «региона» в смысле двумерной евклидовой версии пространства как поверхности? И можем ли мы сделать это и в то же время сохранить позиции региональных исследований как таковых, т.е. отстоять ценность науки, внимательной к контексту, истории, языку, сложному институциональному наследию, альтернативным представлениям о ценности и специфике места? Я рискну предположить, что можем. И что, более того, подобный проект крайне важен перед лицом двух потоков в магистральном направлении социальных наук. Один из них, более количественный и склонный к прогнозированию, сводит «культуру», или «этничность», или «религиозную идентичность» к независимым переменным в формальной модели. А второй — это те самопровозглашенные критические течения (вариации на тему постструктурализма и теории глобализации), которые, утверждая, что вся планета находится во власти тотализирующих дискурсивных практик, пришедших с Запада, не замечают собственного европоцентризма.

Другими словами, у региональных исследований есть что сказать тем направлениям в господствующем течении социальных наук, которые часто считают себя оппозиционными, но сглаживают контекстуальные различия и локальную специфику.

Далее я хочу рассказать о нескольких способах по-новому понять «региональные исследования», чтобы «регион» (area) воспринимался как критический объект внимания, а не просто как рамочное приспособление (по аналогии с тем, как квинтеория творчески перерабатывает саму категорию странного (queer)). Я также предложу некоторые альтернативные пространственные и временные идиомы, которые могли бы способствовать такому пересмотру.

Но прежде я хочу обратить внимание на вопрос релевантности региональных исследований. Ведь мало кто удивился бы, узнав, что судьба региональных исследований, и центрально-азиатских исследований в частности, нередко зависит от направления геополитического ветра, а ветер этот сейчас отнюдь не благоприятен. Так было не всегда. Двенадцать лет назад в серии текстов о судьбе исследований Кавказа и Центральной Азии, заказанной для американского Совета по социальным исследованиям (SSRC), несколько выдающихся исследователей с робкой надеждой писали, что волна маргинализации Центральной Азии, похоже, идет на спад.

Стивен Хэнсон [Hanson 2004] заметил, что «шок событий 11 сентября явно приковал внимание правительства и науки снова к Кавказу и Центральной Азии, так что с таким трудом

полученное экспертное знание об этих регионах снова становится релевантным для господствующего направления социальных наук». Я помню конференции Общества изучения Центральной Евразии (CESS) в начале 2000-х, когда вокруг потенциальных исследователей Афганистана так и вились люди из правительства в лоснящихся костюмах, вооруженные бесконечным запасом визиток. Тогда казалось, что специалисты по Центральной Азии востребованы. Пусть даже не столько социальными науками, сколько правительством и военными, занятыми войной против террористов.

Сейчас, по прошествии десятилетия, тот момент оптимизма касательно наших возможностей повлиять на магистральное течение социальных наук кажется скорее минутной вспышкой. Эти десять лет стали горьким напоминанием о том, как возможности осмысленного международного академического диалога могут быть принесены в жертву соображениям безопасности. В 2013 г. «Статья 8» (Title VIII) правительственной грантовой программы США, которая поддерживала множество программ изучения языков и регионов, не получила от Государственного департамента США¹ никаких средств. Когда в 2015 г. эта программа была восстановлена, ее бюджет (1,5 млн долл.) оказался более чем в половину меньше, чем в 2012 г.

На этом фоне не удивительно, что прогнозы относительно перспектив этой области исследований нерадостны: Кеннет Яловиц и Мэтью Рожански в журнале «Национальный интерес»² писали о «медленном умирании российских и евразийских исследований» [Yalowitz, Rojansky 2014]. Сара Кендзиор назвала свою речь перед студентами программы исследований Центральной Евразии в Индиане эпитафией исследованиям Центральной Евразии [Kendzior 2015]. А Стивен Хэнсон, которого я уже цитировала, в президентском обращении 2014 г. к Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований заявил, что «региональные исследования» мертвы и что нам следует подыскать новый ярлык для описания того, что мы делаем и как мы работаем [Hanson 2015: 3]. (Хэнсон предлагает вместо региональных исследований (area studies) говорить о глобальных и региональных исследованиях (global and regional studies), я вернусь к этому позднее.)

Конечно, у нас множество причин беспокоиться о судьбе нашей научной области, и распределение средств американского Государственного департамента — пусть и значительный, но

¹ Министерство иностранных дел. [Прим. пер.]

² Американский журнал, посвященный вопросам международных отношений. [Прим. пер.]

лишь один из факторов. По отношению к тем регионам, где исследования лучше обеспечены и институциональной, и финансовой поддержкой, Центральная Евразия сохраняет маргинальное положение. Чтобы выучить языки, необходимые для работы, может потребоваться время, упорство, изобретательность и немалая доля везения, потому что университеты сокращают финансирование преподавания языков. А ведь чтобы пересчитать рабочие места, где требуются именно исследователи Центральной Евразии (скажем, политологи, антропологи, историки или социологи), вполне хватит пальцев одной руки. Я знаю социолога, которая пишет диссертацию в одном из университетов Лиги плюща. Ей прямо сказали, что «Кыргызстан не продается» и что если она хочет найти работу после защиты, ей лучше заняться сравнительными исследованиями с Китаем.

В ответ часто можно услышать, что нам не стоит беспокоиться или что маргинализация — это вовсе не так уж плохо. Что именно с периферии, где не работают большие теории, общепринятые периодизации или авторитетные ортодоксальные идеи, приходит интеллектуальная творческая энергия. В общем-то это, конечно, верно. И тому есть прекрасные примеры, скажем, из истории коллективизации или так называемой эпохи брежневского застоя (которая на значительных территориях Центральной Азии была вовсе не застойной). Но такие «неортодоксальные» исследования работают, только если у них есть аудитория. Если в лесу центральноазиатских исследований падает дерево, раздастся ли звук падения? Или, говоря о более насущном: если исследователей нашего региона и из нашего региона арестовывают, депортируют, отказывают в визах или (кажется, это происходит все чаще) не разрешают выступать на международных конференциях, публиковать совместные с западными учеными работы, каким образом эта самая интеллектуальная творческая энергия сможет устоять перед самоцензурой?

Эти проблемы и их влияние на нашу область широко обсуждаются, к примеру в комиссии по безопасности полевой работы Общества изучения Центральной Евразии (CESS). Но есть еще одна связанная с ними проблема, которая свидетельствует о состоянии здоровья региональных исследований, — проблема самого этого ярлыка. Как сказала Дайан Кункер, в американской (и шире — англоязычной) академической среде выражение «региональные исследования» стало ругательным: «Это пережиток холодной войны, который не решает никаких эпистемологических задач в нашем глобализованном мире» [Koenker 2014: 2]. Если те вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся: изменения климата, деградация окружающей среды,

массовые миграции, неравный доступ к медицине и образованию, религиозные и секулярные фундаменталистские идеологии в разных обликах, цифровой милитаризм и надзор онлайн — носят трансрегиональный или глобальный характер, какой смысл в региональных исследованиях? Ведь такой подход к глобальному, казалось бы, по определению прикован к произвольно выделенным или заданным геополитикой регионам мира. Так что же, региональные исследования обречены на провинциализм и узость взгляда?

Моя дисциплина, антропология, похоже, нередко делает намеки, что ответ на этот вопрос должен быть утвердительным. Я часто слышу, как аспирантов призывают публиковать более перспективные научные статьи в специализированных антропологических журналах из первых строчек рейтингов, потому что так больше вероятность найти работу. В издания по региональным исследованиям можно складывать «всего лишь» эмпирические тексты. Иногда я слышу, как о ком-нибудь говорят, когда желают дистанцироваться или сказать гадость, но в то же время и отдать должное: «Да он скорее региональными исследованиями занимается», — подразумевая, что этот человек не «занимается теорией», не может перейти от частных на более абстрактный уровень обобщений.

Не будет ли «обновление региональных исследований» при этом чем-то вроде гальванизации трупа — столь же неприятно, печально и, в конечном счете, бесполезно? Я не уверена, но думаю, что попытаться стоит, и именно потому, что хорошо обоснованные и внимательные к нюансам публичные суждения о нашем регионе сейчас необходимы как никогда. Но если мы хотим доказать ценность того, что делаем, думаю, нам нужно подвергнуть критике саму категорию «региона» (area). Другими словами, нужно найти способ отделить региональные исследования от статичных, географически детерминированных и связанных территориальными границами прочтений культуры и политических процессов.

Я хочу сформулировать вопросы к трем аспектам «региона» (area) в региональных исследованиях (area studies). Во-первых, как способ мыслить о пространстве, «регион» (area), по сути, двумерен (словарное определение: «единица измерения поверхности или часть суши» [англ. “area” имеет значение ‘площадь’ как единица измерения, а также ‘территория’, ‘район’ и т.д. — *Пер.*]). «Регион» представляет пространство как поверхность, как изоморфное, статичное, как нейтральную плоскость для действия. Регион здесь — это сцена, на которой что-то происходит.

Возможно, мы и не вспоминаем об этом буквальном смысле “area” всякий раз, когда говорим об “area studies”, но я думаю,

что это нарезание земного шара на дискретные картографические пространства попутно приводит еще и к чему-то вроде уплощения. Поразительно, например, сколь многие визуальные репрезентации региона Центральной Евразии используют контурную политическую карту пяти постсоветских республик, чтобы показать, где мы работаем. Или как в каждом государстве Центральной Азии политическая карта страны без каких-либо внутренних делений и, как правило, повисшая в воздухе, вне какого-либо регионального контекста, становится символом государства как такового, наряду с флагом, гербом или портретом президента.

Эти карты выглядели бы совсем по-другому, если бы нишу нашей ментальной карты Центральной Евразии занимала топографическая карта, или карта плотности населения, или сетей рек и каналов, или пользователей твиттера. Но начиная с “area” — а не, скажем, плотности (населения или водных артерий), рельефа, времени в пути между двумя точками, мы привносим такое имплицитное прочтение “area”, которое ставит одни способы представлять пространство в привилегированное положение по отношению к другим (и, как указывают некоторые исследователи, описывает это место как необыкновенно опасное, фрагментированное или «конфликтогенное»).

Хочу немного остановиться на вопросе глубины и плоскости. Если нас не учили профессионально заглядывать под земную поверхность или смотреть в небо, мы редко задумываемся о материальных, трехмерных аспектах пространства. Как сказал в своей недавней статье географ Стюарт Элден, «все мы слишком часто воспринимаем географические пространства как плоскости (areas), а не объемы. Территории разграничиваются, делятся и размежевываются, но никто не обращает внимания на их высоту и глубину» [Elden 2013]. В своем анализе ситуации в Палестине Элден демонстрирует, как при взгляде на пути, которые враждующие государства прокладывают там через сети дорог (пропускающие одних и блокирующие доступ другим) и подземных тоннелей, необходимо учесть все три измерения, чтобы постичь динамику неравного распределения власти. Вслед за архитектором Эялем Вейцманом он утверждает, что геополитика — это «дискурс», который игнорирует вертикальные измерения власти, потому что «скорее окидывает территорию взглядом, чем проходит через нее. Это картографическое воображение, унаследованное от военных и политических стилей мышления о пространстве современного государства» [Elden 2013: 37].

Возможный способ пересобрать региональные исследования в Центральной Евразии в трех измерениях — это более при-

стальное и последовательное внимание к социальным и политическим импликациям этой конфигурации разнообразных материальностей. Речь не только об очевидных различиях между горами и равнинами и теми видами материальной политики, которые они предполагают, но и о том, как возможности, воображение, потенциал того, что может крыться в недрах, или в движении, или в атмосфере, формируют политику. Например, это могут быть перспективы добычи нефти, золота или тяжелых металлов. Или возможность обрести энергетическую самодостаточность с помощью гидравлической энергии. Или тревоги жизни в сейсмоопасной местности. Или формы мобилизации вокруг невидимого вреда, причиняемого загрязнением воды и воздуха. Пристальное внимание к тому, как подобная материальность влияет на общество, может, к примеру, помочь нам по-новому взглянуть на то, как мы судим о временах и пространствах маргинальности, или как «природа» становится основой для воображения чистой нации, или на отношения между онлайн- и офлайн-режимами насилия, или на динамику мобилизации протеста.

Позвольте мне привести пару примеров, чтобы пояснить свою мысль. В своем блестящем исследовании горного Тибета антрополог Мартин Саксер показывает, как деревни, которые нередко характеризуются как маргинальные по причине их географической удаленности от центров власти и близости к границам империи, на самом деле часто играют ключевую роль, будучи местами торговли и обмена. Нужно только сместить фокус — от границы как барьера к границе как гаранту процветания для тех горных деревень, которые оказались в точках ее перехода. «Смещение фокуса с границ на точки перехода (pathways), — пишет Саксер, — означает поворот взгляда на 90 градусов. Этот поворот (но не инверсия) перспективы позволяет разглядеть новые проблемные области: 1) отношения между переходами и прилегающими территориями и 2) взаимозависимость и соперничество между точками перехода вдоль границы» [Saxer n.d.].

Саксер обращает внимание на важность пространства для размышлений о маргинальности — категории, которая отсутствует во многих определениях «границ», построенных вокруг «приграничья» как места социального смешения. В совершенно другом контексте — на примере экологических протестов в Кыргызстане — Аманда Вуден показывает, как важно учитывать материальные свойства территории, когда речь идет о потенциале и политике возможной экологической катастрофы. Например, в случае «Кумтора» — золотодобывающей шахты, построенной на леднике (на сегодняшний день единственной

в мире), который угрожающе быстро тает, подогреваемый залежами отходов шахты.

Исследование Вуден релевантно и для второго аспекта нашего обновления региональных исследований. Ведь оно не только дерзко помещает материальное и социальное в одну и ту же аналитическую рамку, так что в фокусе внимания, наряду с человеческими передвижениями, оказываются движения и гор и ледников, и идей и образов, и законов и финансов. Оно также требует от нас критического взгляда на ограниченность наших региональных рамок (методологический регионализм) и на нашу склонность принимать «локальное» и «мировое» как два полюса аналитической шкалы (от малого к большому, от частного к общему). Исследование Вуден показывает, что функционирование кумторской шахты, протесты вокруг нее и проекты открытия рудников в других местах (в том числе, потенциальную возможность эксплуатации ледниковых шахт в Гренландии) невозможно понять, если с самого начала не включить в свою аналитическую рамку множество других «международных акторов». Другими словами, «регион» (area) невозможно свести к ограниченной территории: пространства локальных политик всегда связаны с другими пространствами соединительной тканью кипящей вокруг них жизни [Wooden 2015].

Но здесь есть еще один неожиданный поворот, связанный с локальной спецификой и контекстом. Понимание того, какой смысл «маргинальность» имеет для тех, кто пасет яков или торгует в горном Тибете, или как в сельском Кыргызстане тающий ледник вписывается в локальные космологии пространства и времени, а также понимание значений государственности, демократии или протеста, или, скажем, понимание смысла «оппозиции» для узбекской оппозиции в изгнании *тоже* приходит в результате того уровня погруженности в регион, языковой подготовки и тонкой чувствительности к контексту, который дает специализация по «региональным исследованиям». Например, исследование Вуден показывает, как наряду с такими факторами, как знание о глобальных движениях экологического протеста и мощь социальных медиа, на динамику локального протеста в Кыргызстане влияют устойчивые представления о ледниках как гарантах стабильности общественной жизни, имеющих не только материальную и экономическую, но и духовную ценность.

Поэтому, на мой взгляд, было бы неверно говорить, что профессиональная подготовка может быть ориентирована либо на локальное погружение и всестороннее изучение, либо на международные масштабы и компаративность. Нам нужны региональные исследования, способные устоять перед лицом редуц-

ционистского мышления, которое оперирует категориями масштаба и помещает «международное» на более высокий уровень иерархии по отношению к «локальному». Другими словами, нам нужна перспектива, которая признает связи между множеством «локальностей», будь то штаб-квартира Всемирного банка или киргизская деревня. Более того, нужно напомнить тем коллегам, которые изучают Северную Америку или Западную Европу и не чувствуют потребности оправдывать специфичность своих исследовательских полей, что они тоже занимаются исследованием «локального», а значит — региональными исследованиями. Просто их локальное редко признается таковым.

Региональные исследования, таким образом, можно критиковать за двумерный подход к пространству (плоскость, а не объем), за методологический регионализм и за усвоение видения мира, основанного на иерархии масштабов, где «локальное» оказывается на более низком уровне, чем «национальное», «региональное» или «международное». Но я думаю, что в региональных исследованиях есть кое-что, что может стать мишенью и для более фундаментальной критики. Это склонность и в теории, и на практике отдавать приоритет статике перед движением, или, по выражению Лиисы Малкки, седентаристская метафизика [Malkki 1992]. Попробую объяснить, что я имею в виду. Если мы нарезаем мир на стабильные географические территории и берем это деление за точку отсчета, мы исходим из статической онтологии. В этом случае мы можем задавать вопросы о том, как кто-то или что-то находится в движении, но нашим исходным концептуальным ориентиром остается пребывание «на месте». Такой взгляд на мир часто проступает в том языке, который мы используем для описания миграций: мы говорим о сообществах-отправителях и получателях, о тех, кто «находится в движении» и «остаётся на месте», об отъезде и возвращении. Если же мы изначально признаем, что люди и вещи, включая горы, ледники и тектонические плиты, постоянно находятся в движении, просто они движутся в разном темпе и в разные стороны (кто-то движется чрезвычайно медленно, едва различимо, а кто-то — с огромной скоростью, одни склонны к повторениям, другие — к инновациям), вся наша оптика окажется сдвинута. Дорин Мэсси [2005] называет эти движения гетерогенными траекториями (“heterogeneous trajectories”). В таком прочтении место — это не более чем временная стабилизация таких траекторий или точка, где линии повествования сходятся в настоящем, только чтобы снова продолжиться в разных направлениях в будущем. «Огромные различия между темпоральностями гетерогенных траекторий, которые сходятся в одном месте, крайне важны

для динамики и оценки мест, — пишет Мэсси. — Но, в конечном счете, нет никакого места (ground) в смысле стабильного местоположения <...>. Если мы не можем “вернуться назад” домой в том смысле, что дом успеет сдвинуться с той точки, где мы его оставили, то не можем мы и вернуться назад к природе, уезжая на выходные за город. Она ведь тоже движется» [Massey 2005: 137].

Чтобы этот подход не выглядел чересчур абстрактным или контринтуитивным, я на минутку остановлюсь, чтобы показать, как это движение входит в жизнь общества и становится его неотъемлемой составляющей. Например, можно вспомнить о том, что абсолютное большинство семей в некоторых частях Центральной Азии материально зависимы от возможности одного или нескольких членов семьи уезжать на сезонные работы в Россию. Или о том, что память о прошлых перемещениях, вынужденных или добровольных, в значительных частях региона составляет основу национального воображения. Или о том, что идеи «аутентичности» — культурной, духовной, эстетической — сами по себе формируются движением образов, фильмов, стилей, религиозных текстов, миссионеров, научной литературы и т.д. Но движение присутствует и в более заурядных повседневных практиках, на которых строятся жизнеобеспечение и родственные связи: это перемещения замужних женщин, детей — в школу и город, воды — между полями в ирригационной системе, молодых семей — на освоение новых земель, злаков — на рынок, нефти — по транснациональным трубопроводам, и т.д. Сама наша способность помыслить стабильную точку, которая «стоит на месте» (возможность иметь дом, место, куда можно вернуться, предсказуемость неизменных вещей: если я открою кран, из него польется вода, если я нажму выключатель, загорится свет), обусловлена возможностью и фактом движения — а также, конечно, сложной инфраструктурной сборкой труб, проводов и систем регуляции.

Я думаю, что это очень важно, потому что седентаристская метафизика в изобилии присутствует в мире вокруг нас. Это и попытки парламентариев ограничить международную мобильность незамужних женщин в Кыргызстане, и националистическая риторика, которая предполагает, что связи одной этнической группы с тем или иным местом более аутентичны, чем другой. Или, ближе к моему собственному дому, это панический дискурс о «захлестывающих потоках мигрантов», циркулирующий в публичном пространстве. Я думаю, что это имеет особое значение для региональных исследований и наших способов задавать вопросы. Позвольте мне снова проиллюстрировать свой тезис двумя примерами. Антрополог Магнус Марсден последние несколько лет неотступно следовал за аф-

ганскими торговцами в их передвижениях между товарными биржами в Китае и центрами розничной торговли в Москве, Киеве, Одессе, Дубае и нескольких городах постсоветской Центральной Азии. Многие из них (преимущественно мужчины) уже много лет живут в Пакистане в статусе беженцев. Мы, конечно, можем говорить, что эти люди «из Афганистана», но их языковые компетенции, торговые связи, хабитус, способность снаться с места, когда там становится невозможно работать, — все это необходимо рассматривать в контексте и исторического наследия трансрегиональных торговых сетей, и недавней истории войн и человеческих перемещений. Более того, если мы примем во внимание эти связи, мы можем заметить, что пространства, которые казались нам маргинальными (а Афганистан в региональных исследованиях часто считается во многих отношениях маргинальным: это не совсем Центральная Азия и не совсем Ближний Восток), на самом деле представляют собой узловые точки в сетях связей между сообществами. Как пишет об этом Марсден, «изучение таких трансрегиональных циркуляций показывает, что если рассматривать регионы как фиксированные географические категории, есть риск, что территории-посредники (такие как Афганистан) будут сведены к статусу маргинального “приграничья” [Green 2014]. В результате тот факт, что такие трансрегиональные области и их обитатели в прошлом и настоящем функционировали в качестве “коридоров связности”, соединяющих между собой очевидно разобщенные пространства, не получает достаточного признания» [Marsden 2015: 1].

Второй мой пример отсылает к работе Эмиля Насритдинова и его команды студентов-антропологов из Американского университета Центральной Азии. Эмиль с коллегами провели исследование среди работников-мигрантов из Кыргызстана в Казани и Санкт-Петербурге [Nasritdinov n.d.]. Среди прочего они хотели понять личные жизненные географии мигрантов и различия между ними в зависимости от города. В своем замечательном исследовании они обнаружили, что центральная позиция рынка в жизни и воображении торговцев-мигрантов, а также различия в точках пересечения жизненных географий мигрантов и местных жителей в двух городах приводят к противоположным пониманиям «риска» среди местного населения в Казани и Петербурге. Думаю, это яркая эмпирическая иллюстрация к призыву Дорин Мэсси видеть пространство как «живое» — не как изначальную данность, не как сцену для социального действия, но как хрупкий, одномоментный промежуточный итог «продолжающихся линий повествования».

А что же тогда с региональными исследованиями? Если региональные исследования действительно предпочитают плоское

редукционистское понимание пространства, которое рассматривает его как поверхность, ставит «международное» выше «локального» и отдает статике приоритет перед движением, может быть, стоит просто отказаться от них? Может быть, стоит последовать совету Стивена Хэнсона и найти какое-нибудь другое слово, которое не несло бы таких сильных ассоциаций с холодной войной и имело бы больший успех среди потенциальных студентов, озабоченных своим будущим трудоустройством? Возможно. Но простая смена названия может и не решить наших проблем, если при этом мы не задумаемся о нашем подходе к пространству и масштабу и об адекватном способе уделить должное внимание жизням, которые разворачиваются в *промежуточных* локусах. В частности, предложение заменить «региональные исследования» (area studies) на «глобальные и региональные исследования» (global and regional studies), на мой взгляд, несет риск выплеснуть ребенка вместе с водой, а может, даже и от воды не поможет избавиться. Потому что это название все равно предполагает, что есть региональное, а есть глобальное — два масштаба, маленький и большой, и на основе первого складывается второй. В то время как я выступаю за оптику, которая позволяла бы рассмотреть, как всё *локальное*, от мельчайших точек, затерянных в центральноазиатских ландшафтах, до коридоров Всемирного банка, является в то же самое время и глобальным. Точно так же, как места, которые кажутся средоточием «глобальных» сил, на самом деле тоже локальны, специфичны, сформированы конкретными историческими, геополитическими и экономическими конфигурациями. В этом смысле даже знаменитые «не-места» аэропортов, торговых центров и всего такого прочего пронизаны конкретными конфигурациями экономических и политических сил. Мы можем не замечать их и не распознавать как таковые, потому что большая часть этих так называемых «не-мест» (non-places) [Augé 2008] — истинные пространства капиталистического потребления.

Нам нужен, как мне кажется, не столько отказ от региональных исследований, сколько адаптация термина «регион» (“area”). И начать стоит с критического пересмотра пространственных метафор, которые организуют нашу область, и, возможно, с каких-нибудь свободных экспериментов с более «живыми» прочтениями пространства. Нам нужно сделать с «регионом» (“area”) то же, что квір-исследования делают со «странным» (queer), когда всесторонне изучают гетеронормативность, или что делают исследования белых¹, когда показы-

¹ White studies — американская междисциплинарная область исследований, сосредоточенная на выявлении скрытых привилегий белых в истории и актуальном настоящем и демонстрации их социальной сконструированности. [Прим. пер.]

вают привилегии людей с белой кожей, обращая внимание на их центральное положение и попутно выводя на свет его невидимость. Нам нужно показать, как производство пространства само по себе связано с артикуляцией власти и как наши пространственные метафоры (шелковых путей, ключевых точек, больших игр, «задних дворов» империи, ближних заградиц и пр.) принимают участие в этом неравноправном структурировании.

Я бы хотела предложить три примера (из множества возможных) того, как можно было бы критически пересмотреть понятие «регион». Это отнюдь не исчерпывающий список, и все три подхода выросли из специфики моего собственного эмпирического исследования изменяющихся границ и транснациональной трудовой миграции между Центральной Азией и Россией. Есть и другие подобные метафоры. Например, Хизершоу и Кули предлагают по-новому взглянуть на пространства власти в Центральной Азии через призму офшоров [Heathershaw, Cooley 2015], а Натали Кох исследует изменения городского пространства в Казахстане с помощью категории «территориального воображаемого» [Koch 2013: 139].

Во-первых, я думаю, что мы должны быть внимательны к *следам*. След — это и пространственная, и временная метафора, которая отсылает, с одной стороны, к движению через ландшафт («мы следовали по тропе»), а с другой стороны — к тому, как прошлое продолжает влиять, населять, преследовать настоящее. Следы свидетельствуют о чем-то, что не может ни полностью исчезнуть, ни полноценно присутствовать в настоящем времени. Мы могли бы подумать о следах модернистских или имперских проектов прошлого, которые запечатлелись в ландшафтах Центральной Евразии — этих «свалках металлолома былых проектов будущего» (“junkyards of futures past”), как говорит де Генова [De Genova 1997]. Или о следах истории торговли, ушедших практик почитания мертвых и способов сакрализации ландшафта, которые можно различить в названиях пищи, материальных формах погребений или названиях деревень и священных мест. Совсем в другом контексте антрополог Майкл Тауссиг изучает колониальную историю индиго — красителя, который дает джинсам их синий цвет. История индиго неотделима от истории колониальной торговли, следы которой присутствуют в самом слове «индиго» [Taussig 2008: 4].

Что нам дает такой подход? Эта перспектива привлекает внимание к тому обстоятельству, что настоящее никогда не бывает полностью свободно от прошлого. Элис Стрит [Street 2012: 46] называет это «незапланированной историчностью места».

Фокус на следах позволяет нам вместо того, чтобы понимать пространство и суверенитет как прочно связанные с государством, думать о перекрывающихся географиях и гибридных суверенитетах и мыслить территорию скорее как палимпсест, чем как поверхность. Попробую проиллюстрировать свою мысль конкретным примером, на этот раз из моего собственного исследования. Актуальные пограничные споры между Кыргызстаном и Таджикистаном в Исфарской долине — это в значительной степени споры о недавнем прошлом, в частности об авторитетности паритетных комиссий прошлого, созданных ими карт и декретов, которые ратифицировали решения таких комиссий в одной советской республике, но не в соседней. Сейчас спор об определении границ в Исфарской долине — это спор исключительно о том, какие исторические моменты признавать авторитетными: Кыргызстан и Таджикистан опираются в своих притязаниях на разные карты и нормативные акты. Но когда закапываешься в историю современных приграничных конфликтов, поражает, как прошлое здесь буквально преследует настоящее. Это заметно, например, в том, как память о послевоенных обменах территориями, которые считаются незаконными, несправедливыми и безнравственными, влияет на локальные представления о «границе». Это заметно и в любопытных рефренах в формулировках документов паритетных комиссий послевоенного времени вплоть до 1980-х гг., которые подчеркивают необходимость исправить ошибки прошлого и говорят об угрозе конфликта в случае, если эти споры не получат разрешения [Reeves 2014: 82–86]. Короче говоря, нужно обращать внимание на то, что и у географии есть история: что за «границей» и «определением границ» здесь тянется шлейф из множества попыток перепорядочить пространство и памяти о том, что эти границы никогда не были стабильны. Без учета этой истории невозможно понять страсти и тревоги, которые кипят, например, вокруг строительства дорог или других инфраструктурных проектов в этом регионе.

Вторая идиома, которую, как мне кажется, мы могли бы продуктивно использовать для пересмотра «пространства», — это «траектория». Если «регион» (“area”) фокусирует наше внимание на стабильном пространстве, то «траектория» как раз отсылает к «незаконченным повествованиям» (stories so far), о которых пишет Дорин Мэсси [Massey 2005: 9]. Траектории привлекают наше внимание к движению и ограничениям, которые на него накладываются. На материале Центральной Евразии написаны ценные работы, в которых изучаются, например, траектории и маршруты трудовых мигрантов, торговцев, сотрудников организаций международного развития, религи-

озных миссионеров, студентов, ремесленников и ремесленниц, паломников. Сейчас в этом регионе ведутся прекрасные исследования, например, движения религиозного и других типов знания, сакральных объектов, форм сертификации, новых архитектурных стилей, законов (включая наиболее драконовские законы против свободы вероисповедания или так называемой пропаганды гомосексуализма) и религиозной одежды. Мне кажется, что у этих проектов, указывающих, в частности, на формы связности между Восточной, Центральной и Западной Азией, которые не уместаются в рамки традиционных региональных исследований, имеется критический потенциал для пересмотра этих рамок «снизу». Кроме того, это именно та литература, которая способна поколебать устойчивость категорий, разработанных в классических региональных исследованиях, поскольку она исследует, например, новые формы мусульманской социальности в контекстах транснациональной торговли; новые формы враждебности и гостеприимства, сопровождающие, скажем, растущее присутствие китайских торговцев или строителей в городах Центральной Азии; зарождающиеся режимы потребления, основанные на эстетике мусульманского благочестия, которая идет из Турции и Ближнего Востока; или новые формы организации онлайн, пересекающие границы государств и регионов (см., например, [Botoeva, Spector 2013; McBrien 2012; Saxer n.d.; Schröder, Stephan-Emmrich 2014]).

И наконец, я думаю, что нам нужно более гибкое и чуткое к историческим нюансам понимание государства и суверенитета. Это значит, что необходима более дифференцированная оценка того, как и когда определенные способы создания или изменения пространства начинают доминировать и исключать все прочие, когда и каким образом мы начинаем понимать, кто сейчас устанавливает правила, и как нам эмпирически и теоретически изучать пространства, где государство кажется несуществующим, не выполняет свои функции или не имеет суверенитета. Думаю, что для этого нам понадобится не столько география, основанная на пространственной смежности и изоморфизме (граница, демаркационная линия государственного суверенитета), сколько пространственное воображение, внимательное к точкам возникновения и интенсивности, конфликта и оспаривания — к тому, что в моем заголовке названо «точками давления». Например, в своем исследовании ботулизма в Грузии географ Элизабет Данн показывает, как осознание угрозы этой смертельно опасной болезни неотделимо от нарратива об уходе государства: по ее словам, ботулизм «отмечает места, где государство не справляется со своими задачами и где ему на смену не могут прийти дисциплинарные практики

неолиберализма». Грузинское государство дает повод усомниться в «двойных притязаниях государств на мифологичность и вездесущность» [Dunn 2008: 245]. Чтобы разгадать, раскрыть эти пространства интенсификации, дифференциации, соперничающих претензий на суверенитет или провалов государственной власти и ответить на вопросы о том, почему здесь случаются незаконные пересечения границы, а там — перестрелки, почему это место оказалось в центре национального воображения, а тот город пал жертвой талибов, или почему силы НАТО бомбили именно эту больницу, опять же, требуется кропотливая, упорная, хорошо обоснованная работа с эмпирическим материалом.

Такая работа уже ведется: примеры географических, антропологических, политологических и других исследований, которые я здесь привожу, демонстрируют изобилие вдумчивой критики этнотерриториального эссенциализма в нашей области. Но меня поражает, что эта критика, как правило, появляется не на страницах журналов по региональным исследованиям, а в специализированных дисциплинарных изданиях, и что эти темы не становятся поводом для меж- или кроссдисциплинарных диалогов. Еще более важно, на мой взгляд, что эти работы пока не привели к тому пересмотру региональных исследований, который, мне кажется, необходим, если мы хотим продемонстрировать свою способность двигаться в магистральном течении социальных наук, где региональные исследования уже считаются вымершим направлением. Раньше мы подчеркивали важность исследований Центральной Евразии, говоря о некоторой самоочевидной значимости региона или, еще хуже, отсылая к стратегическим или военным соображениям. По-моему, такие подходы несут риск воспроизводства той бинарной модели, в которой региональные исследования могут отстоять свою значимость, только предъявляя в качестве козыря свое внимание к локальным деталям. И тогда мы останемся во власти геополитических ветров, так что судьба нашей науки по-прежнему будет определяться тем, является ли наш регион стратегическим в глазах Государственного департамента США. Мне кажется, нам нужно стремиться к чему-то большему и двигаться в сторону переоценки «региона» (“area”) и выявления провинциализма, который столь многое определяет в науке, в том числе и в магистральном течении социальных наук. И здесь я смотрю в будущее с оптимизмом. Наша область невелика, открыта экспериментам и достаточно коллегиальна, так что мы можем обсуждать все эти темы, чтобы выработать адекватный ответ «региональных исследований» на концептуальные, эмпирические и политические вызовы нашего времени.

Библиография

- Augé M.* Non-Places. L.: Verso, 1998. 98 p.
- Basch L., Glick Schiller N., Szanton Blanc C.* Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States. L.; N.Y.: Routledge, 1994. 344 p.
- Botoeva A., Spector R.* Sewing to Satisfaction: Craft-Based Entrepreneurs in Contemporary Kyrgyzstan // *Central Asian Survey*. 2013. Vol. 32. No. 4. P. 487–500.
- De Genova N.* The Junkyard of Futures Past // *Anthropology and Humanism*. 1997. Vol. 22. No. 2. P. 171–179.
- Dunn E.* Postsocialist Spores: Disease, Bodies, and the State in the Republic of Georgia // *American Ethnologist*. 2008. Vol. 35. No. 2. P. 243–258.
- Elden S.* Secure the Volume: Vertical Geopolitics and the Depth of Power // *Political Geography*. 2013. Vol. 34. P. 35–51.
- Green N.* Re-Thinking the “Middle East” After the Oceanic Turn // *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*. 2014. Vol. 34. No. 3. P. 556–564.
- Hanson S.* Central Asia and the Caucasus in the Contemporary Social Sciences // *Social Science Research Council Items and Issues*. 2004. Vol. 5. No. 1–2. P. 20–21.
- Hanson S.* In Defense of Regional Studies in a Globalized World // *Association of Slavic, East European and Eurasian Studies Newsnet*. 2015. Vol. 55. No. 1. P. 1–5.
- Heathershaw J., Cooley A.* Offshore Central Asia: An Introduction // *Central Asian Survey*. 2015. Vol. 31. No. 1. P. 1–10.
- Kendzior S.* The Future of Central Eurasian Studies: A Eulogy. Keynote at the 22nd conference of the Association of Central Eurasian Students, Indiana University, March 22, 2015. <<http://sarahkendzior.com/2015/03/08/the-future-of-central-asian-studies-a-eulogy/>>.
- Koch N.* The “Heart” of Eurasia? Kazakhstan’s Centrally Located Capital City // *Central Asian Survey*. 2013. Vol. 32. No. 2. P. 134–147.
- Koenker D.* Revolutions: A Guided Tour // *Association of Slavic, East European and Eurasian Studies Newsnet*. 2014. Vol. 54. No. 1. P. 1–5.
- Levi S.* A Transregional Approach to Central Asia // *Social Science Research Council Items and Issues*. 2004. Vol. 5. No. 1–2. P. 27–28.
- Malkki L.* National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity Among Scholars and Refugees // *Cultural Anthropology*. 1992. Vol. 7. No. 1. P. 24–44.
- Marsden M.* Crossing Eurasia: Trans-Regional Afghan Trading Networks in China and Beyond // *Central Asian Survey*. 2015 [Online first]. P. 1–15.
- Massey D.* For Space. L.: Sage, 2005. 232 p.
- McBrien J.* Watching *Clone*: Brazilian Soap Operas and Muslimness in Kyrgyzstan // *Material Religion*. 2012. Vol. 8. No. 3. P. 374–396.
- Nasritdinov E.* Only by Learning to Live Together Differently Can We Live Together at All. Readability and Legibility of Central Asian Migrants’

- Presence in Urban Russia // Schröder P. (ed.). Central Asian Survey. Special issue on Urban Spaces and Lifestyles in Central Asia and Beyond (forthcoming).
- Reeves M. *Border Work: Spatial Lives of the State in Rural Central Asia*. Ithaca: Cornell University Press, 2014. 309 p.
- Saxer M. *Remote Pathways: The Non-Peripheries at the Edge of Nation States*. Unpublished manuscript.
- Schröder P., Stephan-Emmrich M. The Institutionalization of Mobility: Well-Being and Social Hierarchies in Central Asian Translocal Livelihoods // *Mobilities* [Online first]. 2014. P. 1–24.
- Street A. *Affective Infrastructure: Hospital Landscapes of Hope and Failure* // *Space and Culture*. 2012. Vol. 15. No. 1. P. 44–56.
- Taussig M. *Redeeming Indigo* // *Theory, Culture and Society*. 2005. Vol. 25. P. 1–18.
- Wooden A. *Moving Rocks and Glaciers, Shifting Resistance and Identities. Mining Developments and Discourses in Post-Soviet Kyrgyzstan (1998–2015)*. Paper presented to the workshop on Development and Modernization in the Soviet and Post-Soviet Periphery, University of Leiden, September 25–26, 2015.
- Yalowitz K., Rojansky M. *The Slow Death of Russian and Eurasian Studies* // *The National Interest*. 2014, May 23. <<http://nationalinterest.org/feature/the-slow-death-russian-eurasian-studies-10516>>.

Пер. с англ. Александры Касаткиной

ИГОРЬ САВИН

1

Как кажется, региональное разделение исследовательского внимания и всех последующих институционализаций должно сохраниться, иначе все глобальные обобщения будут обрастать слишком объемными ссылками на те публикации или институты, где читатель может «потрогать» материал. Разумеется, необходимо также, чтобы с «региональными» сосуществовали и «проблемно ориентированные» исследования, которые будут исходить из признания допустимости каких-то региональных тенденций, а те и будут объектом анализа «компаративистов».

2

Любые границы — всегда вещь условная, конвенциональная, зависящая от ситуации возникновения данных конвенций и необходимости установления этих границ. Не являются исключением и границы Центральной Азии. Я уже не говорю о географиче-

Игорь Сергеевич Савин
Институт востоковедения РАН,
Москва
savigs@inbox.ru

ческом измерении (соотнесении Центральной и Средней Азии, где «на карте» расположены эти регионы и т.д.). Не меньший интерес вызывает и содержательное наполнение указанных границ. Как кажется, специфика центральноазиатских исследований сохраняется, несмотря на существование указанных в самом вопросе мощных исследовательских пространств и постоянное появление новых, таких как колониальные, постколониальные и миграционные исследования, изучение моделей интеграционного взаимодействия и формирования транскультурных обществ и т.д. Во всех этих случаях, в конкретных исследовательских ситуациях все равно придется учитывать наработки предшествующих «центральноазиатских исследований». Неважно, идет ли речь о влиянии региональных исследовательских парадигм на более глубокое понимание жизненных стратегий центральноазиатских мигрантов в Москве или на пути формирования сообществ местного происхождения в советском Узбекистане.

3

Речь может идти о самом широком спектре вопросов, лишь бы особенности поведения, мышления и социальных стратегий людей в каждом конкретном случае были обусловлены их центральноазиатским происхождением или влиянием. Об исламе как о предмете изучения в контексте региональных исследований Центральной Азии можно говорить только в том случае, если есть свидетельства существования концепций и практик, которые их авторы и участники считают исламистскими, но при этом эти концепции и практики не встречаются за пределами региона. Даже мой собственный не очень большой опыт бесед с людьми, которые считали себя борцами истинного ислама, позволил отметить следующее. Рассуждая на общеисламские темы планетарного масштаба (разрозненность умы, засилье кафирских режимов в большинстве исламских стран, оттесненность мусульман от управления миром и мировых природных ресурсов), они проговаривали, что они среднеазиатские элементы мировой общины. Это было видно не из деклараций, а из ответов на вопросы, связанные с их личной историей, выяснением мотивов их личного вовлечения в эту деятельность. Как кажется, эти обстоятельства отличаются у исламистов других стран. А значит — важность понимания регионального контекста сохраняется.

АННА ТЕСЛЕВСКАЯ

«Исламский фактор»

3

Прежде всего я бы хотела поблагодарить организаторов этого форума за вынесение на обсуждение интересных и актуальных вопросов, касающихся региональных исследований современной антропологии на примере Центральной Азии. Я постараюсь ответить на третий вопрос, касающийся исламского фактора и его значения для изучения региона. Является ли исламский фактор главной особенностью этого региона?

Если предположить важность «исламского фактора», сначала нужно определить, в каком контексте мы говорим об исламе.

Несомненно, религия является важным фактором в формировании данной культуры. Если мы понимаем ислам как образ жизни, касающийся всех ее аспектов, как материальных, так и духовных, исламский фактор становится действительно важным и должен быть включен во все исследовательские проекты, связанные с Центральной Азией, независимо от их тематики. Следует рассматривать влияние культуры и религии на все явления социальной, политической, экономической сфер жизни. Наряду с этим исследователи должны учитывать культурные различия, которые, помимо религии, определяют функционирование различных этнических групп и народностей, проживающих в Центральной Азии.

Такой исследовательский подход требует одновременно детального анализа процессов трансформации социальных институтов, характерных для определенной этнической группы. Как известно, на изменения в религии и традиции влияют разные факторы: политическая ситуация, экономика, миграция, процессы, связанные с глобализацией. Сам ислам находится под влиянием политики разных государств и связан с интенсификацией контактов с другими мусульманскими странами, которые, с одной

Анна Теслевская
(Anna Cieślewska)

Ягеллонский университет,
Краков, Польша
acieslewska@gmail.com

стороны, приводят к повышению уровня религиозного образования и религиозного знания, а с другой — сопоставляют новые духовные движения ислама с местной практикой и традициями и стимулируют деятельность различных групп, в том числе ортодоксального характера или даже радикальных. (Конечно, нужно детально определить понятия, поскольку оба явления часто рассматриваются как почти одно и то же, хотя во многих случаях подход к религии, действия и цели групп, которые могут быть рассмотрены как радикальные, и тех, которые считаются ортодоксальными, совершенно различны.)

В этом контексте изучения ислама невозможно не обратиться к этнографическим исследованиям, уделяя особое внимание анализу и описанию различных ритуалов, религиозной практики и т.д. Важные источники знания — это не только современные полевые исследования, но также этнография советской эпохи, исторические архивы, теологические тексты и т.д.

Очередной важный вопрос, которому необходимо уделить пристальное внимание, связан с различными аспектами мусульманской этики, ее влиянием на современную этику народов Центральной Азии. Ислам как фактор регулирования нестабильной жизни постсоветской Центральной Азии, форма социальной справедливости. Исламский фактор как идеологическая оппозиция вестернизации и американизации. Лозунги, которые охотно провозглашаются различными группами. Такой подход позволит рассмотреть исламский фактор в более широком контексте и провести анализ процессов, происходящих в настоящее время в Центральной Азии. Среди них и те, которые связаны с радикализацией или популяризацией ортодоксального ислама. Последние, в свою очередь, влияют на трансформацию традиционной религиозной практики.

С предыдущим аспектом связано также понятие «традиционного ислама» — данный термин нередко используется в различных контекстах в оппозиции к «нетрадиционному исламу», который часто называют враждебным традиции явлением, связанным с ортодоксальным исламом или даже радикализмом. В этом контексте нужно задуматься над влиянием отличных от ханафитской правовых школ ислама и иных независимых от масхабов течений, элементы которых можно увидеть в новой обрядности мусульман региона.

В связи с вышеизложенным возникает вопрос о методах проведения исследований по исламу, которые усложняются с каждым годом. На такую ситуацию влияет политика правительств Центральной Азии. В настоящее время проведение полевых исследований по исламу практически невозможно в Узбекистане и Туркменистане и весьма затруднительно в Таджики-

стане. Правительства этих стран делают практически невозможной работу иностранных ученых. Кроме того, ухудшение отношений на линии Запад — Россия, а также европейская цивилизация (которая понимается как иудео-христианская) — ислам влияют на отношения коренных жителей к иностранным исследователям (это часто не зависит от религии и этнической принадлежности последних).

К примеру, обсуждаемый в Кыргызстане закон об «иностранцах-агентах» отрицательно повлиял на отношение местных жителей к исследователям, подозреваемым часто в шпионаже и разведке для иностранных государств или даже в том, что они хотят навредить исламу. Этот тип теорий заговора может сказаться на качестве научно-исследовательской работы, которую очень трудно проводить в таких условиях. В результате исследования ислама все чаще носят фрагментарный и даже поверхностный характер. В Казахстане действительно можно проводить исследования, но под контролем государства, что препятствует независимой деятельности исследователя, которая является обязательным условием для эффективной работы. Конечно, в этом «Форуме» можно поставить общий вопрос относительно того, какой интерес представляет ислам для представителей тех или иных государств и с какой личной целью научные сотрудники участвуют в разных политических проектах. Но нельзя забывать и о том, что исследования по различным аспектам ислама прежде всего позволяют лучше понять современные процессы в регионе.

В целом можно сделать вывод о том, что исламский фактор является весьма важным в исследованиях, проводимых в Центральной Азии, и требует всестороннего изучения. Из-за нестабильной ситуации в регионе будущее исследований ислама можно поставить под вопрос.

ТОММАЗО ТРЕВИЗАНИ

По тонкому льду: значение и перспективы антропологии Центральной Азии

Сохраняет ли перспектива региональных исследований свою актуальность в антропологии? И если да, то каковы границы «нашего» региона? Для антрополога Центральной Азии эти вопросы имеют несколько тревожный оттенок. Исток тревоги — в интеллектуальной обеспокоенности, что региональная перспектива может ограничить

Томмазо Тревизани
(Tommaso Trevisani)

Университет Тюбингена,
Германия

tommaso.trevisani@uni-tuebingen.de

горизонт производства антропологического знания, а также в более прозаичном опасении, как бы стигма региональности не оказала негативное влияние на карьеру в дисциплине, где с каждым днем все большую значимость обретает «глобальное». Эти страхи, однако, вступают в противоречие с тем фактом, что антропологическое изучение территории бывших советских среднеазиатских республик и их окрестностей процветает и бурно развивается с того самого момента, как распался Советский Союз [Liu 2011; Ривз 2014]. Можно только удивляться, сколь многие антропологи (и их академические собратья — этнологи, этнографы и проч.), работающие в Центральной Азии, Центральной Евразии, Внутренней Азии или Средней Азии, чувствуют, будто они непременно обязаны поставить под вопрос свой собственный воспринятый «регионализм». Думаю, что, несмотря на существенные различия в позициях, определениях и дисциплинарных традициях, в целом наше дело (а именно, антропологический интерес к «нашему» региону) само по себе редко ставится под вопрос.

Моя небольшая озабоченность этой проблемой окрашена сильным чувством дежавю. Здесь слышится отзвук полемики прошлых лет, восходящей к «дебатам о сочинении культуры» (writing culture debate) [Clifford, Marcus 1986] и их последствиям. Региональные подходы способны проецировать на территории, людей и концерты произвольно проведенные границы, а результатом может стать эссенциализация образа «другого». Поэтому необходимо пересматривать установившиеся каноны и нарративы, а также критически продумывать свое собственное позиционирование. Одной из заслуг критики, направленной в свое время прежде всего на монографии предшествовавших поколений антропологов и востоковедов, стало необходимое усложнение антропологической (само)рефлексии. Однако та же самая критика создала удушающий климат академического аутодафе, в котором не оказалось места достоинствам и прочной обоснованности более ранней этнографической работы. Текстцентричность критики привела к смещению интереса от общества и его структуры к семиотике и значению, т.к. постмодернистский сдвиг к нематериальным («фукольдианским») отношениям власти отвлек внимание от конкретных отношений в конкретных обществах. Критики не заметили также, что региональный анализ и межкультурное сравнение так или иначе, открыто или подспудно, встроены в классические этнографические тексты. Поэтому некоторые в тот ранний период отвечали, что антропологи, как и этнографы, не могут не применять «локализирующие стратегии» [Fardon 1990], чтобы в полной мере учитывать региональные условия и специализацию.

Схожие аргументы недавно снова зазвучали и в региональных исследованиях, где регионализм как концепт опять оказался в фокусе внимания [van Schendel 2002; Mielke, Hornidge 2014], и в дискуссиях о кризисе антропологии в неолиберальную эпоху [Carrier 2012; Jebens, Kohl 2011]. По-прежнему обсуждается и деконструируется объект этнографического исследования и формы его локальности (*situatedness*). Это свидетельствует о стабильном интересе к производству знания, власти и репрезентации — центральным темам для нашей дисциплины. Так что когда речь заходит об определении роли регионального анализа, оказывается, что кое-какие уроки прошлого и настоящего уже усвоены. Избегать ловушек эссенциализма, понимать границы как скорее изменчивые и проницаемые, нежели плотные и статичные, принимать всерьез региональный контекст — все это для антропологов уже ушло в область само собой разумеющегося. Антропологи изучают «большие проблемы» в «малых местах» [Eriksen 1995]. Какими бы разнообразными или оторванными от контекста (*disembedded*) ни были эти места, какими бы размытыми или фрагментированными ни были их границы, наша способность их контекстуализировать остается определяющей до тех пор, пока наша дисциплина строится на полевой работе (и включенном наблюдении).

Необходимость контекстуализации требует скалярной перспективы — не просто локальной, национальной или глобальной, но еще и региональной, посредством которой различные способы концептуализации региона влияют на то, как фреймируется (а значит, и понимается) региональный контекст в антропологических исследованиях [Marsden 2012: 342]. Даже в современном мире, который становится все более мобильным, гибким и пронизанным сетями коммуникаций, регионализм в его двойном значении социальных паттернов и «культурных явлений, характерных для всего региона», и региональных традиций этнографии, которые воспроизводят антропологи — творцы региональных «текстов», останется существенным компонентом этнографически ориентированного антропологического проекта [Barnard 2002 (1996): 714–715].

Из всего этого (по крайней мере, на мой взгляд) следует, что спор о том, как реструктурировать региональные исследования, на практике уже в некотором роде разрешился и является пройденным этапом. В антропологии региональные исследования концептуализируются как динамичная и активно включенная в коммуникации область, которая делает возможным глубокое взаимодействие с (подвижными) объектами антропологического изучения. И хотя антропология Центральной Азии все еще занимает неуверенную и марги-

нальную позицию новичка в глобальных антропологических дискуссиях и борется за полноценное институциональное и интеллектуальное признание, ей удается сохранять критический взгляд на региональные исследования. Это подтверждает возрастающий объем литературы, способной сочетать экспертное знание о регионе с широкими трансрегиональными перспективами, темами исследований и сравнениями (ср. обзор в: [Ривз 2014]).

В последние годы в нашей области знания наблюдается умножение сложности и разнообразия тем. Если обобщать, наше поле уходит от более общей и описательной «догоняющей этнографии» (“catch-up ethnography”) [Liu 2011: 115], характерной для первого постсоветского поколения социальных и культурных антропологов, получивших образование в западных университетах, и начинает интенсивно интересоваться более широкими антропологическими дискуссиями, углубляя тематическую рефлексию и специализацию. В этой дифференциации сыграли свою роль и расходящиеся все дальше друг от друга пути национального развития в бывших советских среднеазиатских республиках, поскольку теперь условия работы антрополога в разных странах сильно различаются. Те же самые увлечение и рост сложности, наблюдаемые у «антропологов с Запада», которые начали заниматься Центральной Азией после распада Советского Союза, теперь можно видеть и в сегменте антропологов, этнографов и этнографически ориентированных археологов, связанных с исторически предшествующей советской научной традицией [Mühlfried, Sokolovskiy 2011]. После сложного первого постсоветского десятилетия относительного затишья эта «локальная» наука стала более видимой, хотя она и не всегда включена в коммуникацию на международном и региональном уровнях. Ее недавно начатая переоценка затрудняется тем, что в бывших советских среднеазиатских республиках государственные академические учреждения, как правило, отвергают региональную (т.е. наднациональную) идентификацию и предпочитают национально специфичные пути и повестки, а кроме того страдают от экономических и политических ограничений [Dagyeli 2015]. О расширении и консолидации региональной антропологии Центральной Азии говорит и появление «домашней антропологии» (“anthropology at home”) с международной ориентацией (и публикациями), а также поколения молодых антропологов из региона, которые сейчас изучают Центральную Азию в заграничных университетах, но не фокусируются на стране своего происхождения.

С учетом перечисленных тенденций и начинаний можно дать прямые ответы на вопросы нашей дискуссии.

1 Концепция региональных исследований нужна, легитимна и до сих пор доказывала свою продуктивность. Ее институционализация (в учебных программах, исследовательских департаментах, специализированных журналах) работает на поддержание высоких академических стандартов. Это справедливо в целом, но даже в большей степени — для Центральной Азии, региона, который, страдая от ненадежной институционализации, платит дороже остальных за пребывание между более четко определенными региональными областями исследований по соседству. Центральная Азия обладает исторически сложившимися тонкими нюансами, которые придают ей уникальность и оправдывают региональный подход. Делегирование ее изучения соседним областям несет ущерб научности. Более того, поскольку любая этнография растет из локальных условий и контекста, нет ничего страшного в том, чтобы писать антропологические тексты, используя центральноазиатскую оптику.

2 Границы Центральной Азии невозможно (и не нужно) установить четко, единожды и навсегда. Это можно делать только с учетом разнообразия их определений. В различных способах проводить границы Центральной Азии отражается наследие разных научных традиций, которые предлагают богатство интерпретаций и необходимое разнообразие точек зрения. И хотя это, конечно, легче сказать, чем сделать, все эти разнообразные традиции и перспективы следует рассматривать как взаимодополняющие и благоприятные (а не конкурирующие и вредоносные) для развития исследований прошлого, настоящего и будущего Центральной Азии. Более того, культурные, экономические и политические границы региона изменяются под влиянием миграционных паттернов, геополитических проблем и экономической интеграции в глобальные потоки капитализма XXI в. Эти перемены, которые становятся все более ощутимыми, ставят перед нами вопросы о том, как именно (и какие) границы становятся значимыми, каково их значение и как они производятся.

3 Несмотря на то что некоторые тематические области в отдельных институциях развиваются интенсивнее других и сейчас преобладают в антропологических текстах о нашем регионе (например, антропология государства, миграций, выживания в постсоциалистических условиях, религии), ни исламизм, ни какая-либо другая доминирующая тема не должны становиться определяющим мотивом для всей Центральной Азии. Выдвижение на первый план региональных «концептов-фильтров» (“gatekeeping concepts”) [Appadurai 1986] способно вывести маргинальную территорию в центр внимания в первом приближении, но в долгосрочной перспективе такой шаг

может оказаться эфемерным и привести к отставанию. Это значит, что антропологии Центральной Азии следует опасаться сиюминутных течений, стремиться к выходу на более широкую проблематику дисциплины, говоря о социальных и культурных переменам в целом, и сохранять готовность к сравнениям и дискуссиям с соседними областями и дисциплинами. Таким образом, антропология Центральной Азии должна чутко реагировать на все, что может быть полезно для ее развития, и в дальнейшем не упускать из виду последние этнографические находки.

Направление, в котором следует двигаться сообществу антропологов Центральной Азии, вроде бы интуитивно понятно. Нужно расширять наше знание о регионе и внутреннее сотрудничество, представлять его в междисциплинарных диалогах, создавать этнографические тексты, которые бы делали вклад в большие дискуссии и представляли интерес в более широкой перспективе, и уводить наши внутренние дискуссии с провинциального уровня. На этом пути, однако, нас подстерегают серьезные вызовы, и их становится все больше. Одни приходят из нашей же исследовательской области, другие, такие как политические и экономические ограничения, — извне.

Объединение усилий всех, кто действует на сцене антропологии Центральной Азии, могло бы стать спасением, но на сегодняшний день наше дисциплинарное поле так разнородно и разобцено, что на практике его трудно объединить. Наряду с языковыми барьерами (старыми и новыми), по-прежнему играют разобщающую роль различия научных подходов и традиций. Традиция, уходящая корнями в советскую науку, новые национальные академические школы, отражающие позиции новых официальных кругов и интеллигенции, и вселенная «западных» антропологий с их собственными разнородными национальными научными традициями, предрасудками и приоритетами имеют между собой мало общего, за исключением разве что области исследований и, может быть, естественной эгоцентричности. Все эти дисциплинарные сегменты в неравной степени подготовлены к плаванию по непредсказуемым политическим и экономическим водам, в которых сейчас плавают Центральная Азия. Антропологи на Западе жалуются на аскетизм университетских бюджетов, но их ситуация несравнимо лучше, чем у их центральноазиатских коллег. Такое неравенство финансирования, ресурсов и власти не благоприятствует равноправной дискуссии и не способствует уравновешенному плодотворному диалогу. Эти препятствия на пути сближения «антропологий» Центральной Азии невозможно преодолеть легко или быстро.

Меняющаяся экономическая и политическая ситуация представляет для антропологии Центральной Азии еще более серьезное испытание, чем достижение «дружбы наук» — гармонизации «западного» и «восточного» научных подходов. Репрессивные режимы по всему региону стали более враждебно относиться к критическим антропологическим исследованиям, а когда дело доходит до сотрудничества с наукой, они предпочитают поддерживать технократические дискурсы. Антропологам приходится изворачиваться или рисковать доступом к полю. Они должны понимать, что их работа и публикации могут находиться под пристальным надзором, и прилагать значительные усилия, чтобы не подвергать опасности себя и тех, с кем они работают. И хотя обстановка в разных странах различается, чиновники служб безопасности и администрации повсюду проявляют более или менее равную подозрительность. В последнее время люди стали лучше понимать, чем занимаются антропологи, когда работают в поле. Но что именно они ищут и для чего может быть полезно производимое ими знание, по-прежнему не очень ясно. По сравнению с предыдущим первым постсоциалистическим десятилетием сейчас даже в более либеральных странах с меньшим количеством ограничений антропологи идут по тонкому льду и чаще сталкиваются с подозрительностью, когда начинают интересоваться неконвенциональными темами или занимают критическую позицию. Одновременно с этим наша дисциплина становится и более видимой (поскольку увеличивается количество ее последователей, качественно и количественно прирастает научный продукт), и более уязвимой. Мы работаем в регионе, находящемся в ситуации затянувшегося отставания, постоянно перед лицом очередного большого сдвига во власти, который неизбежно повлияет на нашу дисциплину, привлекающую все больше внимания правительств. Условия полевой работы сейчас стали сложнее, чем десятилетие назад, и перспективы туманны. По-прежнему неясно, насколько далеко зайдет охлаждение политических отношений между «Востоком» и «Западом», наступит ли между ними потепление и как это повлияет на жизнь рядового человека и функционирование науки. Наконец, будущее нашей дисциплины в регионе во многом зависит от того, остались ли золотые дни полевой работы позади или можно ожидать наступления еще лучших времен для центральноазиатского поля.

Как пишет Коль [Kohl 2011: 3], кризис в антропологии «связан не столько с ее объектом исследования, который всегда находился в состоянии непрерывного изменения, сколько с самой дисциплиной». Кажется, это утверждение подходит и для нашего уголка мира, с одним важным уточнением: в Центральной

Азии угроза нашей дисциплине связана не столько с эпистемологией и легитимностью наших подходов, сколько с внешними условиями, накладывающими ограничения на нашу работу. Нельзя допустить, чтобы из-за этих обстоятельств значение антропологии в нашем регионе уменьшилось.

Я разделяю точку зрения Мориса Годелье (и многих других), что в современном глобализованном мире наша дисциплина наилучшим образом подготовлена к тонкой, понимающей работе с различиями, сложностью и разнообразием [Godelier 2011]. Это, несомненно, верно и для Центральной Азии. Но антропология может многое сделать для нашего региона (и наоборот) и в более глубоком смысле — в области этики и эпистемологии: антропологическая перспектива и антропологически выстроенный контакт с «другим» (anthropological encounter) меняют видение мира, а значит, меняют и сам мир. Распространение антропологического знания неизбежно ведет к повышению сознательности и расширению связей с миром, которые являются противоположностью ослабления и подчиненного положения. В антропологии имплицитно заложена установка на эмансипацию, которая наилучшим образом способна признать, оценить и наделить ценностью богатое культурное наследие и разнообразие нашего региона. В этом смысле мы можем, слегка изменив слова Годелье, сказать, что «в современной Центральной Азии антропология более важна, чем когда-либо раньше».

Еще один «урок», который предстоит выучить, лежит в противоположном направлении, а именно на линии, проведенной от нашего региона к современному состоянию кризиса и самонализа, в котором пребывает антропология. После перегибов «глобализма» и истерических поисков теоретических инноваций и оригинальности региональный подход в антропологии предлагает зону неспешности, где можно перевести дыхание и заново отточить свои интеллектуальные орудия, вернувшись к истокам дисциплины. В конце концов, даже классики нашей дисциплины приходили из конкретных регионов (которые были не менее маргинальны, чем наш, пока к ним не привлекли внимание). Здравый смысл подсказывает, что возвращение к глубокому знанию региона и чистому этнографическому ремеслу, основанному на четких правилах, может дать если не панацею от дезориентации и других опасностей дисциплинарного «перегрева» антропологии [Eriksen 2009], то хотя бы какое-то средство от ее недугов, предложив модель антропологического поиска, которая, может быть, и старомодна, но интеллектуально обоснована, жизнеспособна и востребована. Чтобы двигаться по этому пути, антропологии Центральной Азии необходимо более активно создавать альянсы с другими дисциплинами и развивать рефлексивность в своих собствен-

ных региональных исследованиях. Вопрос в том, достаточно ли этого, чтобы выдержать испытания нашего поля, или в Центральной Азии нам придется более радикально изменить антропологические методы работы, научного поиска и рефлексии, чтобы просто выжить или даже преуспеть.

Библиография

- Pivz M.* Антропология Средней Азии через десять лет после «состояния поля»: стакан наполовину полон или наполовину пуст? // Антропологический форум. 2014. № 20. С. 60–79.
- Appadurai A.* Theory in Anthropology: Center and Periphery // Comparative Studies in Society and History. 1986. No. 29. P. 356–361.
- Barnard A.* Regional Analysis and Regional Comparison // Barnard A., Spencer R. (eds.). Encyclopaedia of Social and Cultural Anthropology. L.: Routledge, 2002 (1996). P. 714–718.
- Carrier J.* Anthropology after the Crisis // Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology. 2012. No. 64. P. 115–128.
- Clifford J, Marcus G.* (eds.). Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley; Los Angeles; L.: University of California Press, 1986. 305 p.
- Dagyeli J.* Fluid or Perpetual? Conceptions of the Central Asian Region and Its Study in Local Textbooks. Zentrum Moderner Orient, Berlin. Unpublished paper, 2015.
- Eriksen T.H.* Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology. L.: Pluto Press, 1995. 323 p.
- Eriksen T.H.* Living in an Overheated World: Otherness as a Universal Condition // Čiubrinskas V., Sliužinskas R. (eds.). Identity Politics: Histories, Regions and Borderlands. Klaipėda: Klaipėda University, 2009. (Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Vol. 19; Studia Anthropologica, 3). P. 9–24.
- Fardon R.* (ed.). Localizing Strategies: Regional Traditions of Ethnographic Writing. Edinburgh: Scottish Academic Press; Washington: Smithsonian Institution Press, 1990. 360 p.
- Godelier M.* In Today's World, Anthropology Is More Important Than Ever // Jebens H., Kohl K.-H. (eds.). The End of Anthropology? Wantage: Sean Kingston Publishing, 2011. P. 203–218.
- Jebens H., Kohl K.-H.* (eds.). The End of Anthropology? Wantage: Sean Kingston Publishing, 2011. 254 p.
- Kohl K.-H.* Introduction // Jebens H., Kohl K.-H. (eds.). The End of Anthropology? Wantage: Sean Kingston Publishing, 2011. P. 1–12.
- Liu M.* Central Asia in the Post-Cold War World // Annual Review of Anthropology. 2011. No. 40. P. 115–131.
- Marsden M.* Southwest and Central Asia: Comparison, Integration or Beyond? // Fardon R. et al. (ed.). The Sage Handbook of Social Anthropology. Los Angeles: Sage, 2012. Vol. 1. P. 340–365.
- Mielke K., Hornidge A.-K.* Crossroads Studies: From Spatial Containers to Social Interactions in Differentiated Spatialities. Bonn: ZEF, 2014. 60 p. (Crossroads Asia Working Paper No. 15).

Mühlfried F., Sokolovskiy S. Exploring the Edge of Empire: Soviet Era Anthropology in the Caucasus and Central Asia. Münster: LIT, 2011. 337 p.

van Schendel W. Geographies of Knowing, Geographies of Ignorance: Jumping Scale in Southeast Asia // Environment and Planning D: Society and Space. 2002. No. 20. P. 647–668.

Пер. с англ. Александры Касаткиной

ЗУЛАЙХО УСМАНОВА

Об этнографии в Таджикистане

Этнографические исследования в Таджикистане (на территории современного Таджикистана) были начаты еще в XIX в. и динамично развивались в XX в. К концу 1980-х гг. этнографические экспедиции постепенно были сведены на нет, а начиная с 1990-х гг. и вовсе не организовывались. За последние 15 лет в Таджикистане не было защищено ни одной диссертации на этнографическую тему. С одной стороны, труды российских и советских этнографов активно используются, популяризируются: лекции советских этнографов, собранные в Этнографическом музее, становятся предметом национальной гордости. С другой стороны, школа этнографии практически отсутствует: функционирует лишь отдел этнографии в Институте истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ в составе нескольких сотрудников. Отдел возглавляет известный искусствовед, профессор Л.Н. Додхудоева. В регионах ситуация с научными этнографическими исследованиями обстоит куда более плачевно.

Все это свидетельствует о том критическом состоянии, в котором находится этнографическая наука в Республике Таджикистан. Это было бы невозможно представить в советский период. Повседневная жизнь народа, его обряды и традиции уже давно не становятся предметом научного анализа таджикских и российских ученых. Государство пользуется своим собственным инструментарием при решении важных социальных

Зулайхо Усманова

Институт философии, политологии
и права Академии наук
Республики Таджикистан,
Душанбе, Таджикистан
zumonova@gmail.com

задач, и это не всегда идет на пользу науке (к примеру, Закон об упорядочении традиций, обрядов и праздников). Если мы желаем сохранить и приумножить этнографию в Таджикистане, то, на мой взгляд, необходимо наладить сотрудничество с российскими научными институтами и учебными заведениями, заинтересованными в исследованиях таджикской культуры. Традиционно начавшись в России, «среднеазиатские» исследования должны быть возвращены к жизни: такая необходимость диктуется не только политическими причинами. В среде таджиков до сих пор сохраняется особое отношение, уважение и почтительность ко всему, что связано с Россией. Русскоязычному исследователю / исследовательнице будет намного легче проводить полевые исследования благодаря культурной и исторической близости и общности наших народов. Шанс того, что местные информанты лучше откроются русскоязычному исследователю, чем иностранному, намного выше. Российская наука должна вернуть первенство в исследованиях региона. Россия рассматривается многими представителями научного сообщества Таджикистана как гарант таджикской науки, как кладезь и хранительница знания и научного опыта. Подтверждением этому служит тот факт, что в Таджикистане советы по защита диссертаций функционируют под юрисдикцией ВАК РФ.

Что касается названия, наименования исследований Центральной Азии, то мне представляется, что это не имеет особого значения. Важен сам факт вовлеченности ученых в процесс исследования региона как таковой, а не конкретное название данного вида исследований. В качестве небольшой рекомендации хотелось бы посоветовать российским институтам более активно сотрудничать с академическими структурами в странах региона, вовлекать местных ученых в полевые исследования, а также наладить интенсивное изучение языков региона, т.к. русский язык постепенно исчезает из его культурного пространства.

Некоторые вопросы о позиции «инсайдера» и «аутсайдера». В западной антропологической науке есть понятия «инсайдер» и «аутсайдер», которые отсылают к углу зрения исследователя. Эти понятия важны для решения проблемы достоверности результатов исследования.

Аутсайдер — это обычно исследователь культуры / группы / события, выросший в другой культурной среде, выучивший язык и нравы данной группы и наблюдающий как бы со стороны. Западные исследователи огромное значение придавали в связи с этим знанию языков аборигенов для того, чтобы быть способными общаться с представителями исследуемого народа

непосредственно, без переводчиков. Живя долгое время среди данного народа, ученый все же оставался на своих исследовательских позициях и никогда не пытался идентифицировать себя с этой группой.

Инсайдер — это тот, кто исследует культуру изнутри и зачастую является ее носителем. Инсайдеру сложнее всего, так как он / она должен / должна выработать в себе взгляд со стороны и в то же время осмыслять явления, оставаясь внутри культурного пространства, принадлежа ему и являясь частью той культуры, которую он / она исследует. В подобной непростой ситуации инсайдера оказываются местные исследователи. В моем случае в 2005 г. и 2009 г. при исследовании повседневного ислама и женских религиозных специалистов меня «спасало» то, что рядом был западный исследователь-аутсайдер и я имела возможность в любой момент обратиться к нему за поддержкой и советом. До начала проекта в 2009 г. мне не приходилось общаться с представительницами популярного ислама, и этот факт придавал уверенности в том, что это будет новый и неизведанный опыт, в котором взгляд снаружи будет преваляющим. Воспитание, полученное в интернациональной семье с сильными позициями официального ислама (в силу того, что отец автора был исламским кори — чтецом Корана), исключало тесное общение с представителями популярного ислама, так как все духовные «услуги» были «включены» и такое общение далеко не приветствовалось бы со стороны родителей. Жизнь, воспитание и образование, полученные в интернациональной среде, также не дали автору сильной «ленинабадской» идентичности, несмотря на то что отец являлся видным представителем коренного населения города Худжанда. Поэтому изучать культуру, язык, обычаи и особенности родного и неродного города пришлось как бы заново.

Все это пишется с одной целью: в любом исследовании должен быть как инсайдер, так и аутсайдер. Они дополняют друг друга, способствуют как свежести взгляда, так и осмысленности ситуаций, недоступных пониманию отдельно взятого исследователя. В этой связи присутствие иностранных / российских исследователей в научном пространстве представляется необходимым условием глубоких исследований культуры региона.

Спектр центральноазиатских исследований. Центральноазиатские исследования должны по-прежнему включать широкий спектр вопросов — от питания и одежды до геополитических интересов и идеологий. Как антрополог, могу сказать, что последние 20 с лишним лет вопросы современной этнографии

таджикского народа не являлись предметом научного интереса. Исследования необходимо возродить: важнейшие аспекты культурного развития не исследованными исчезают в глубине истории. Также, на мой взгляд, необходимо изучать гендерные аспекты культуры: сфера гендерных отношений претерпела, возможно, наибольшие изменения после развала СССР. К примеру, одна только идея / стереотип «хорошей таджикской женщины» менялась и продолжает меняться постоянно в соответствии с социальными, культурными, идеологическими и другими трансформациями. Что касается культуры питания таджиков, то она также сильно изменилась вследствие гражданской войны 1992–1997 гг. и последующего процесса восстановления: одни блюда заняли место других, менялись сакральные и профанные коды пищи, менялись роли мужчин и женщин, происходил культурный взаимообмен, менялось отношение к алкоголю и т.п. Эти и многие другие процессы остаются вне поля зрения исследователей.

Что касается ислама, то трудно не согласиться с тем, что ислам становится все более важной, а порой и центральной темой в регионе. Исследованиям политического ислама уделяется огромное внимание, по данной теме написаны сотни книг и статей. Ислам останется важной темой в исследованиях региона, но хотелось бы, чтобы научные работы не ограничивались сугубо политическими и / или геополитическими исследованиями. Существует множество вопросов и тем, связанных с исламом, ждущих своего освещения, — ислам в контексте культуры, влияние ислама на повседневную жизнь людей, женщины в исламе и др.

ЙЕСКО ШМОЛЛЕР

Внимание к деталям: ценность региональных исследований

В этой дискуссии я намерен выступить в защиту дисциплины региональных исследований, в частности исследований Центральной Азии. Поскольку эта специализация, несомненно, повлияла на формирование моей позиции, я коротко обозначу траекторию своего высшего образования. Получив степень по социальной антропологии в университете Гамбурга и познакомившись с соответствующими теориями и методологиями, я решил расширить свои познания

о регионе в докторантуре Центрально-азиатского семинара в университете им. Гумбольдта в Берлине. В это структурное подразделение университета входят представители разных дисциплин: истории, социальных наук (включая антропологию), исламоведения, лингвистики. Они занимаются культурами, историей и языками стран юга бывшего Советского Союза (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан), Афганистана, Западного Китая и Монголии. Особое внимание уделяется языковой подготовке, которая, с моей точки зрения, совершенно необходима для проведения любого исследования: не существует другого способа понять народ, кроме как через его язык.

Я сам занимался исследовательской работой в Узбекистане и могу уверить читателя, что *махалля* (*mahalla*) — это не то же самое, что соседское сообщество. Это единица со сложными социальными — а в последнее время даже административными — функциями, среди которых социальная сплоченность, контроль и поддержание мира и порядка¹. Точно так же было бы неверно переводить термин *obro* как «статус» и полагать, что этот термин подразумевает процессы, связанные со статусом. *Obro* — мужчины — это его драгоценный ресурс, который связан с его позицией в *махалле* и может потерпеть ущерб от неверных решений или дурного поведения членов его семьи². Изучая эти два термина в их отношениях друг с другом, я вышел за пределы лингвистических дискуссий и вступил в область социальных и культурных контекстов. Антрополог Клиффорд Гирц [Geertz 1973: 3–30] считает, что действия людей можно интерпретировать только с учетом контекста. Лишь немногие дисциплины относятся с такой серьезностью к контексту, как региональные исследования³. Насколько же лучше мы можем понять любое явление, когда наблюдаем его в его среде, а в идеале еще и прослеживаем его развитие в ходе советской (и досоветской) истории.

Аргумент, что в эру глобализации и транснационализма региональные исследования стали неактуальными, звучит неубедительно. Центральная Азия имеет многообразные связи с Россией, Турцией, Китаем, Ближним Востоком, Западной Европой, Южной и Юго-Восточной Азией. Обмен товарами и идеями меняет центральноазиатские общества, но при этом не создает глобальной унифицированной культуры мерчан-

¹ Больше сведений об узбекской *махалле* см. в: [Massicard, Trevisani 2003].

² См.: [Schmoller 2014: 98–130] о значении этого понятия и его роли в повседневной жизни.

³ Социологи Патрик Шабал и Жан-Паскаль Далоз [Chabal, Daloz 2006] вслед за Гирцем подчеркивают важность контекста для сравнительных подходов.

дайзинга и потребления. Примером может служить узбекская популярная музыка. В Узбекистане это процветающая индустрия: заключаются многочисленные контракты, выпускаются записи, восходят новые звезды, старые предаются забвению, целые состояния делают певцы, которых приглашают выступать на праздниках жизненного цикла (*to'yu*). Когда просматриваешь некоторые видеоклипы Асилбека Негматова или Боджалар, заметно влияние западной поп-музыки в том, как используются звуки и эффекты. Тем не менее эти певцы хранят верность узбекскому языку и мелодиям, которые они сами ощущают как «восточные». В результате получается гибридный продукт, который трудно с чем-либо сравнивать, а значит, он представляет собой что-то новое и отдельное.

Историк Фернан Бродель [Braudel 1995] в своей знаменитой работе продемонстрировал плотность взаимодействий и взаимодействия между обществами Средиземноморья во второй половине XVI в. Несмотря на это, почти полтысячелетия спустя жизнь в Триполи, Хайфе, Неаполе и Барселоне всё так же не схожа. Региональные исследования признают разнообразие подходов, и их приверженцы обычно не настаивают на том, чтобы анализировать свой регион как нечто изолированное и таким образом его искусственно конструировать. Участники немецкой исследовательской сети “Crossroads Asia” относят себя к традиции региональных исследований и вместе с тем рассматривают констелляции людей в их отношении к пространственному измерению. Они могут, к примеру, попытаться объяснить передвижения и взаимодействия внутри и за пределами (!) региона, который простирается от Восточного Ирана до Западного Китая и от Аральского моря до Северной Индии. Сфокусируется ли взгляд исследователя на этом широко определенном регионе или уйдет куда-нибудь в сторону, зависит от изучаемого явления.

Размышляя о том, в какой области локализовать центрально-азиатские исследования, я вижу некоторую проблему в том, чтобы объявить их подразделом русских или славянских исследований. Такое решение значило бы, что мы интерпретируем центральноазиатские культуры исключительно через призму их новейшей истории. Советская социальная инженерия, на мой взгляд, так и не преуспела в создании культур, которые были бы национальными по форме, но социалистическими по содержанию. Во многих отношениях было верно обратное, и люди усвоили лишь определенные советские конвенции, в целом продолжая делать то же, что всегда делали их предки. Сегодня можно заметить, что некоторые культурные явления кажутся очень советскими внешне, но чем внимательнее мы присматриваемся, тем больше находим признаков далекого

прошлого. Среди явлений такого рода — узбекская экономика дара¹. В худшем же случае изучение центральноазиатской истории или культуры из перспективы русистики или славистики уязвимо для обвинений в ориенталистском уклоне или в оправдании колониальной политики Российской империи и Советского Союза по отношению к их мусульманским подданным на юге.

В последнее время появилось несколько исследовательских работ, авторы которых занимают критическую позицию по отношению к колониальному опыту и в то же время учитывают нюансы². Определенные достоинства я нахожу и в более радикальной позиции исследователей, которые работают в рамках постколониального / деколониального проекта. Они утверждают, что постколониальные исследователи предпринимают недостаточно усилий, чтобы переписать историю и предоставить право голоса жертвам колониальной политики, поскольку все, что они делают, по-прежнему остается внутри академической традиции западного происхождения, которая не имеет адекватного языка для выражения локальных идей и понятий. Таким образом, необходимо изобрести новый язык, который был бы основан на локальных традициях учености и уважении к истинному духу культуры³. Попытку в этом направлении предприняла теоретик культуры Мадина Тлостанова [Tlostanova 2012], которая рассматривает Центральную Азию и Кавказ из деколониальной перспективы. Если некоторые примеры региональных исследований можно критиковать за недостаточное внимание к теории, то работа Тлостановой демонстрирует, что обратная ситуация может быть еще более проблематичной. Тлостанова почти не заботится о том, чтобы подкрепить свои заявления эмпирическими данными, и, к сожалению, ее узбекское и черкесское происхождение не компенсирует этот недостаток. Можно надеяться, что будущее принесет более убедительный деколониальный анализ или хотя бы что его влияние будет более заметным в дискурсах антропологии или региональных исследований.

Исследование, которое уделяет внимание деталям и принимает всерьез тех, кого изучает, их культуру и историю — а в региональных исследованиях обычно так и происходит — на самом деле несколько не исключает сравнительного подхода. Напро-

¹ Подробности см. в: [Pétric 2002].

² Если говорить об исторических работах, см., например: [Edgar 2006; Stronski 2010; İğmen 2012]. Антрополог Сергей Ушакин сейчас работает над книгой, в которой предпринимает сравнительное исследование постколониальных настроений в Кыргызстане и Беларуси.

³ Постколониальный / деколониальный проект противостоит универсалистскому идеалу создания хранилища знания, которое бы охватывало все аспекты природы и культуры.

тив, в гуманитарных и социальных науках это неперенное условие существования хорошо обоснованного исследования любого типа.

Библиография

- Braudel F.* The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philipp II. Berkeley: University of California Press, 1995. Vol. 2. 1375 p.
- Chabal P., Daloz J.-P.* Culture Troubles. Politics and the Interpretation of Meaning. Chicago: University of Chicago Press, 2006. 395 p.
- Edgar A.* Tribal Nation. The Making of Soviet Turkmenistan. Princeton: Princeton University Press, 2006. 320 p.
- Geertz C.* The Interpretation of Cultures. N.Y.: Basic Books, 1973. 470 p.
- Iğmen A.* Speaking Soviet with an Accent. Culture and Power in Kyrgyzstan. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2012. 240 p.
- Massicard E., Trevisani T.* The Uzbek *Mahalla*: Between State and Society // Everett-Heath T. (ed.). Central Asia. Aspects of Transition. Abingdon: Routledge, 2003. P. 205–218.
- Pétric B.-M.* Pouvoir, don et réseaux en Ouzbékistan post-soviétique. P.: Presses Universitaires de France, 2002. 320 p. (Collection “Partage du savoir”).
- Schmoller J.* Achieving a Career, Becoming a Master. Aspirations in the Lives of Young Uzbek Men. B.: Klaus Schwarz, 2014. 240 p.
- Stronski P.* *Tashkent*. Forging a Soviet City 1930–1966. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2010. 320 p.
- Tlostanova M.* Transcultural Tricksters in between Empires: “Suspended” Indigenous Agency in the Non-European Russian / Soviet (Ex-) Colonies and the Decolonial Option // Tlostanova M., Mignolo W. (eds.). Learning to Unlearn. Decolonial Reflections from Eurasia and the Americas. Columbus: Ohio State University Press, 2012. (Transoceanic Studies). P. 83–121.

Пер. с англ. Александры Касаткиной

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Предложенные «АФ» к обсуждению вопросы вызвали интересную дискуссию и обозначили несколько тем, которые сегодня, видимо, волнуют антропологов, изучающих Центральную Азию. Вряд ли можно утверждать, что этот список является исчерпывающим, поскольку далеко не все точки и возможные углы зрения здесь были представлены. Тем не менее удалось собрать участников, которые представляют разные страны и различные научные школы, что, кажется, позволило отразить достаточно широкий спектр мнений и подходов. При этом я не стал бы говорить, что эта дискуссия ограничена какими-то специфическими болячками «средне- / центрально-азиатского / евразийского» междусобойчика. Поднятые темы и способы их проговаривания, скорее всего, имеют аналоги в других региональных исследовательских сообществах, повторяются и пересекаются с ними, т.е. затрагивают антропологию в целом, несмотря на узкий фокус и почти «домашний» разговор, в котором специалисты по одному региону нередко друг друга хорошо знают.

Обсуждение показало, что не существует непреодолимых разногласий по поводу необходимости и пользы сохранения регионального фокуса в антропологии. Все согласны, что современная антропология должна иметь сильный критический пафос, пересматривая в том числе и «методологический регионализм», т.е. границы и понятия, которые установлены в качестве неизменных и подспудно содержат в себе эссенциалистское описание, удобное для (гео)политических интересов разных стран и сил (Мадлен Ривз). Все согласны, что люди и общества были и остаются мобильными, границы — подвижными, а культурные практики и представления, возникшие в разных местах, распространяются, взаимодействуют и смешиваются между собой в самых разных комбинациях (Борис Петрик,

Диана Ибаньез-Тирадо и Магнус Марсден). А это означает, что любое понимание и любая теория должны учитывать процессы и результаты глобальных и транснациональных влияний, перемещений и обменов и еще иметь сравнительную перспективу, которая позволяет видеть множество точек пересечения или отталкивания. Существует сложившийся или складывающийся консенсус по поводу того, что понятие «региона» размывается, утрачивает свою четкость, однозначность и становится скорее предметом или результатом воображения, переговоров и конкуренции, исследовательский же фокус неизбежно смещается с изучения территориальных сообществ на то, как разворачивается социальная игра, в процессе которой они конструируются.

Но сказанное совершенно не отменяет пристального внимания к месту, локальности, контексту и его специфике (Тохир Каландаров, Игорь Савин, Томмазо Тревизани). Полевая работа (включенное наблюдение), остающаяся фирменным дисциплинарным знаком, требует накопления знаний о каждом конкретном месте и его особенностях, изучения языка (о чем многие в дискуссии говорили) и даже эмоциональной привязанности, помогающей установить долговременные доверительные отношения с той или иной локальностью. Регион, будучи одним из способов измерения места, в качестве аналитической и одновременно практической категории, которую антрополог использует, выполняет важную задачу сведения множества культурных, политических, экономических и других потоков к единой территориально привязанной точке, которая становится точкой отсчета или обзора. То, что мы понимаем под этнографической компетенцией (быть специалистом по конкретному региону), в этом смысле сохраняется не только в качестве важного способа дисциплинарного структурирования, но и как значимая позиция для анализа, которая стремится ухватить отличие и специфику, увидеть своеобразные преломления и траектории, из которых состоят глобальные пути и движение по ним.

Показательно, что при этом почти никак не задел участников обсуждения вопрос о том, каким образом определять границы «своего» региона, как называть регион, которым они занимают — Средней или Центральной Азией / Евразией — и что может быть главной проблемой, вокруг которой должна развиваться региональная антропологическая мысль. Пожалуй, всеми признается, что эти границы и названия имеют исторически и политически сложную историю и не стоит их наделять какими-то сущностными, раз и навсегда данными характеристиками (Светлана Горшенина). Отмечается, что региональные рамки могут сужаться или расширяться, в том числе меняя

названия, в зависимости от конкретных задач исследования или научного диалога (Гульнара Айтпаева, Игорь Савин, Йеско Шмоллер). Никто не отрицает важность изучения мусульманских практик и идентичностей (Анна Теслевская), но, кажется, никто не стремится ограничивать себя ими, что, конечно, идет вразрез с политическим и экспертным запросом, который всё больше становится озабоченным религиозными сюжетами. Имеющийся широкий репертуар понятий, географических конфигураций и проблематик как раз позволяет учитывать множество контекстов, гибко реагировать на поставленные исследовательские задачи и вписываться в разные дисциплинарные и институциональные требования (Гульнара Айтпаева, Наталья Космарская). То, что кажется логически противоречивым, именно в силу своей неоднозначности дает ученым инструмент для собственной академической мобильности и гибридности.

Симптоматично, что в какой-то мере болезненными оказались вопросы о том, кто имеет преимущественное право определять проблематику и конфигурацию региона, как выстраивается иерархия авторитетов в научном сообществе и какие в нем существуют асимметрии. Одни участники дискуссии поместили свою критику в колониальную рамку, заметив неравенство внешних и местных исследователей, навязывание первыми собственных интересов, парадигм или превосходства. При этом в одних случаях критика была направлена в адрес России или советской традиции (Эмиль Насритдинов), в других — в адрес «Запада» (Зулайхо Усманова), в третьих — советской традиции и «Запада» как одного целого или разных версий колониальности (Алима Бисенова и Кульшат Медеуова, Йеско Шмоллер). Другие участники дискуссии, напротив, отметили, с одной стороны, что внутри «Запада» существуют разные центры и направления, которые сами между собой находятся в сложных отношениях (Диана Ибаньез-Тирадо и Магнус Марсен), с другой стороны, что некоторые страны Средней / Центральной Азии / Евразии в последнее время стали ограничивать доступ иностранных ученых, влияя на формирование научных возможностей и приоритетов (Томмазо Тревизани, Анна Теслевская). Российским исследователям в этой дискуссии остается либо позиционировать себя как самостоятельный авторитетный центр, на что, кажется, уже нет достаточных сил и воли, либо присоединиться к «Западу» как его историческая часть (Наталья Космарская), либо считать себя жертвой «Запада» и бывших «младших братьев», которым было отдано столько любви. Последняя точка зрения не прозвучала в откликах, но широко представлена в российских политических дебатах.

Возникшая, пусть неожиданно, дискуссия об авторитетах и иерархиях говорит и о существующей острой конкуренции за право определять границы и содержание «средне- / центральноазиатской / евразийской» антропологии, и о том, что образ региона формируется сегодня на пересечении разных научных традиций, наблюдающих ролей и предпочтений. Причем многие ученые, которые делают карьеру и кочуют между странами, академическими позициями и темами, сами воспроизводят это множество и неопределенность, перемешивая разные языки, роли и иерархии (Аида Алымбаева и Аксана Исмаилбекова). Советское прошлое, которое часто упоминается в дискуссии, тоже, видимо, сохраняется как еще одна исследовательская рамка и собственная (для многих) биография, которая по-прежнему объединяет и разъединяет.

Сложно сказать, говорит ли согласие или, точное, общее направление размышлений по многим вопросам о том, что центральноазиатские исследования сложились как отдельная, со своим лицом, «региональная» область знаний или, наоборот, о том, что они лишь приспособливаются к разным ожиданиям и не имеют общей повестки. Состоявшаяся в «АФ» дискуссия, разумеется, была лишь попыткой обозначить возможный разброс мнений и зафиксировать имеющиеся точки сближения и напряжения.

Сергей Абашин

Forum

What is the Role of “Regional Studies” in Contemporary Anthropology? — Exploring the Case of Central Asia

The fall of the Soviet Union and the subsequent development of new nation-states in the post-Soviet space, along with the increasing momentum of social, political, and cultural reorganization globally, have challenged the field of anthropology and ethnography to restructure how knowledge is acquired and systematized. One of the issues that has come up during the course of these changes is how to restructure regional studies: are regional studies possible as such, or should the concept be abandoned as the division between research interests becomes more “problematic”? If regionality is maintained, then how should researchers perceive these “regions” and their borders? This question is particularly relevant for Russian anthropology and ethnography, which has long developed and institutionalized as a complex of clear-cut regional subdivisions. There is concern that without regional expertise, the profession of anthropology and ethnography will lose its disciplinary identity, continuity, existing schools of thought, and professionalism. At the same time, there is an awareness that prioritizing regionality and maintaining the regional boundaries of the past is inconsistent with contemporary scholarly methods and the realities of a globalizing and rapidly transforming world order.

Another issue is the stake that governments and political elite have in the way regional studies are restructured, and the competition between various political interests to name a given region and define its borders. In this context, anthropologists and ethnographers need to self-reflect on their personal reasons for participating in political projects, and whether or not they will become neo-colonialist actors in the new “great game.” In this *Forum* researchers discuss these issues in the context of Central Asia, or Central Asian Studies.

Keywords: Regional Studies, Area Studies, Central Asia, Central Asian Studies.

References

- Abashin S., ‘Nation-Construction of Soviet Central Asia’, Bassin M., Kelly C. (eds.), *Soviet and Post-Soviet Identities*. Cambridge: University Press, 2012, pp. 150–168.
- Abashin S., ‘Razmyshleniya o “Tsentralnoy Azii v sostave Rossiyskoy imperii” [Thoughts about “Central Asia within the Russian Empire”]’, *Ab Imperio*, 2008, no. 4, pp. 456–471. (In Russian).

- Abu-Lughod L., 'Zones of Theory in the Anthropology of the Arab World', *Annual Review of Anthropology*, 1989, vol. 18, pp. 267–306.
- Adams L., 'The Mascot Researcher: Identity, Power, and Knowledge in Fieldwork', *Journal of Contemporary Ethnography*, 1999, August, vol. 28, no. 4, pp. 331–363.
- Adams L., *The Spectacular State: Culture and National Identity in Uzbekistan*. Duke: University Press Books, 2010, 256 pp.
- Alexander C., 'Almaty: Rethinking the Public Sector', Alexander C., Buchli V., Humphrey C. (eds.), *Urban Life in Post-Soviet Asia*. London: UCL, 2007, pp. 70–101.
- Alymbaeva A. A., 'Mezhdru "sartom" i "kalmakom": Politika identichnosti v Kyrgyzstane [Between Sart and Kalmak: Politics of identity in Kyrgyzstan]', *Etnograficeskoe obozrenie*, 2014, no. 4, pp. 45–55. (In Russian).
- Amsler S., *The Politics of Knowledge in Central Asia: Science between Marx and the Market*. London; New York: Routledge, 2007, 188 pp.
- Appadurai A., *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: Minneapolis University Press, 1996, 229 pp.
- Appadurai A., 'Theory in Anthropology: Center and Periphery', *Comparative Studies in Society and History*, 1986, vol. 28, no. 2, pp. 356–361.
- Augé M., *Non-Places*. London: Verso, 1998, 98 pp.
- Augé M., *Pour une anthropologie des mondes contemporains*. Paris: Aubier, 1994, 195 pp.
- Basch L., Glick Schiller N., Szanton Blanc C., *Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States*. London; New York: Routledge, 1994, 344 pp.
- Balandier G., *Le dédale. Pour en finir avec le XXème siècle*. Paris: Fayard, 1994, 236 pp.
- Barnard A., 'Regional Analysis and Regional Comparison', Barnard A., Spencer R. (eds.), *Encyclopaedia of Social and Cultural Anthropology*. London: Routledge, 2002 (1996), pp. 714–718.
- Barth F., *Ethnic Groups and Boundaries, the Social Organization of Culture Difference*. London; Bergen; Oslo: Univ. Sforlaget, 1969, 153 pp.
- Bellér-Hann I., *Community Matters in Xinjiang. Towards a Historical Anthropology of the Uyghur*. Leiden; Boston: Brill, 2008, 476 pp.
- Bellér-Hann I., Cristina Cesàro M., Harris R., Smith Finley J. (eds.), *Situating the Uyghurs between China and Central Asia*. Hampshire: Ashgate Publishing Company, 2007, 276 pp.
- Bennigsen A., Wimbush S., *Muslims of the Soviet Empire*. London: Hurst, 1985, 294 p.
- Bershidsky L., 'Kyrzbekestan isn't Funny', *Bloomberg View*, 2015, January 9. <<http://www.bloombergview.com/articles/2015-01-09/kyrzbekistan-isnt-funny>>.
- Bergne P., *The Birth of Tajikistan: National Identity and the Origins of the Republic*. London: I. B. Tauris, 2006, 178 pp.
- Beyer J., 'Settling Descent: Place Making and Genealogy in Talas, Kyrgyzstan', *Central Asian Survey*, 2011, vol. 30, no. 3–4, pp. 455–468.

- Beyer J., 'Customizations of Law: Courts of Elders (Aksakal Courts) in Rural and Urban Kyrgyzstan', *POLAR, Political and Legal Anthropology Review*, 2015, vol. 38, no. 1, pp. 53–71.
- Botoeva A., Spector R., 'Sewing to Satisfaction: Craft-Based Entrepreneurs in Contemporary Kyrgyzstan', *Central Asian Survey*, 2013, vol. 32, no. 4, pp. 487–500.
- Braudel F., *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philipp II*. Berkeley: University of California Press, 1995, vol. 2, 1375 pp.
- Buchli V. A., 'Astana: Materiality and the City', Alexander C., Buchli V., Humphrey C. (eds.), *Urban Life in Post-Soviet Asia*. London: UCL, 2007, pp. 40–69.
- Buchli V. A., 'Surface Engagements in Astana', Adamson G., Kelly V. (eds.), *Surface Tensions*. Manchester: University Press, 2013, pp. 84–95.
- Burawoy M., Verdery K. (ed.), *Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Post-Socialist World*. New York; Oxford: Boulder, 1999, 322 pp.
- Burawoy M. (ed.), *Global Ethnography*. Berkeley: University Press of California, 2000, 408 pp.
- Burdukov A., 'Karakolskie kalmyki (sart-kalmaki) [The Kalmyks of Karakol (Sart-kalmyks)]', *Sovetskaya etnografiya*, 1935, no. 6, pp. 47–78. (In Russian).
- Campbell J. K., *Honour, Family and Patronage. A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community*. New York: Oxford University Press, 1974, 393 pp.
- Caroe O., *Soviet Empire: The Turks of Central Asia and Stalinism*. London: McMillan, 1953, 300 pp.
- Carrère d'Encausse H., 'Islam in the Soviet Union: Attempts at Modernisation', *Religion in Communist Lands*, 1974, vol. 2, no. 4–5, pp. 12–20.
- Carrier J., 'Anthropology after the Crisis', *Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology*, 2012, no. 64, pp. 115–128.
- Chabal P., Daloz J.-P., *Culture Troubles. Politics and the Interpretation of Meaning*. Chicago: University of Chicago Press, 2006, 395 pp.
- Chari S., Verdery K., 'Thinking between the Posts: Postcolonialism, Post-socialism and Ethnography after the Cold War', *Comparative Studies in Society and History*, 2009, vol. 51, no. 1, pp. 6–34.
- Clifford J., Marcus G. (eds.), *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1986, 305 pp.
- Cohen A., *Two-Dimensional Man: An Essay on the Anthropology of Power and Symbolism in Complex Society*. London: Routledge & Kegan Paul, 1974, 156 pp.
- Cole J. R. I., Kandiyoti D., 'Nationalism and the Colonial Legacy in the Middle East and Central Asia: Introduction', *International Journal of Middle East Studies*, 2002, vol. 34, no. 2, pp. 189–203.
- Collins K., *Clan Politics and Regime Transition in Central Asia*. New York: Cambridge University Press, 2006, 376 pp.

- Dagyeli J., *Fluid or Perpetual? Conceptions of the Central Asian Region and Its Study in Local Textbooks*. Zentrum Moderner Orient, Berlin. Unpublished paper, 2015.
- De Genova N., 'The Junkyard of Futures Past', *Anthropology and Humanism*, 1997, vol. 22, no. 2, pp. 171–179.
- Detienne M., *Comparer l'incomparable*. Paris: Le Seuil, 2000, 144 pp.
- Dubuisson E., Genina A., 'Claiming an Ancestral Homeland: Kazakh Pilgrimage and Migration in Inner Asia', *Central Asian Survey*, 2011, no. 3–4, pp. 469–485.
- Dunn E., 'Postsocialist Spores: Disease, Bodies, and the State in the Republic of Georgia', *American Ethnologist*, 2008, vol. 35, no. 2, pp. 243–258.
- Edgar A., *Tribal Nation. The Making of Soviet Turkmenistan*. Princeton: Princeton University Press, 2006, 320 pp.
- Eickelman D., *The Middle East and Central Asia: An Anthropological Approach*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1998, 384 pp.
- Elden S., 'Secure the Volume: Vertical Geopolitics and the Depth of Power', *Political Geography*, 2013, vol. 34, pp. 35–51.
- Eqbal A., 'Knowledge, Place and Power: A Critique of Globalization', Mirsepassi A., Basu A., Weaver F. (eds.), *Localizing Knowledge in a Globalizing World. Recasting the Area Studies Debate*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2003, pp. 216–229.
- Eriksen T. H., 'Living in an Overheated World: Otherness as a Universal Condition', Čiubrinskas V., Sliužinskas R. (eds.), *Identity Politics: Histories, Regions and Borderlands*. Klaipėda: Klaipėda University, 2009 (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. 19; Studia Anthropologica, 3), pp. 9–24.
- Eriksen T. H., *Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology*. London: Pluto Press, 1995, 323 p.
- Fardon R. (ed.), *Localizing Strategies: Regional Traditions of Ethnographic Writing*. Edinburgh: Scottish Academic Press; Washington: Smithsonian Institution Press, 1990, 360 p.
- Féaux de la Croix J., 'Moving Metaphors We Live by: Water and Flow in the Social Sciences and around Hydro-electric Dams in Kyrgyzstan', *Central Asian Survey*, 2011, vol. 30, no. 4, pp. 487–502.
- Féaux de la Croix J., "'Bringing Lights to the Yurts": Visions of Future and Belonging Surrounding Pastures and Hydropower in Kyrgyzstan', *Anthropology of East Europe Review*, 2014, vol. 32, no. 2, pp. 49–67.
- Geertz C., *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973, 470 pp.
- Gellner E., *Nations and Nationalism*. New York: Cornell University Press, 1983, 150 pp.
- Gluckman M., 'Analysis of a Social Situation in Modern Zululand', *Bantu Studies*, 1940, vol. 14, no. 1, pp. 1–30.
- Godelier M., 'In Today's World, Anthropology Is More Important Than Ever', Jebens H., Kohl K.-H. (eds.), *The End of Anthropology?* Wantage: Sean Kingston Publishing, 2011, pp. 203–218.

- Gorshenina S., *L'invention de l'Asie centrale. Histoire du concept de la Tartarie à l'Eurasie*. Genève: Droz, 2014, 704 pp. (Collection: Rayon Histoire, no. 4).
- Green N., 'Re-Thinking the "Middle East" After the Oceanic Turn', *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 2014, vol. 34, no. 3, pp. 556–564.
- Gross J. (ed.), *Muslims in Central Asia: Expressions of Identity and Change*. Durham: Duke University Press, 1992, 240 pp.
- Gulette D., *The Genealogical Construction of the Kyrgyz Republic: Kinship, State and "Tribalism"*. London: Brill, 2010, 272 pp.
- Gupta A., Ferguson J., *Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science*. Berkeley: University of California Press, 1997, 275 pp.
- Guyer J. I., 'Anthropology in Area Studies', *Annual Review of Anthropology*, 2004, vol. 33, pp. 449–523.
- Hann C. (ed.), *Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia*. London: Routledge, 2002, 360 pp.
- Hann C., 'Smith in Beijing, Stalin in Urumchi: Ethnicity, Political Economy and Violence in Xinjiang, 1759–2009', *Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology*, 2011, vol. 60, pp. 108–123.
- Hann C., Dunn E. (eds.), *Civil Society: Challenging Western Models*. London: Routledge, 1996, 248 pp.
- Hanson S., 'Central Asia and the Caucasus in the Contemporary Social Sciences', *Social Science Research Council Items and Issues*, 2004, vol. 5, no. 1–2, pp. 20–21.
- Hanson S., 'In Defense of Regional Studies in a Globalized World', *Association of Slavic, East European and Eurasian Studies Newsnet*, 2015, vol. 55, no. 1, pp. 1–5.
- Harris C., *Control and Subversion: Gender Relations in Tajikistan*. London: Pluto Press, 2004, 216 pp.
- Harris C., *Muslim Youth: Tensions and Transitions in Tajikistan*. London: Westview Press, 2005, 208 pp.
- Heathershaw J., *Post-conflict Tajikistan*. London: Routledge, 2009, 240 pp.
- Heathershaw J., Cooley A., 'Offshore Central Asia: An Introduction', *Central Asian Survey*, 2015, vol. 31, no. 1, pp. 1–10.
- Heathershaw J., Megoran N., 'Contesting Danger: A New Agenda for Policy and Scholarship on Central Asia', *International Affairs*, 2011, vol. 87, no. 3, pp. 589–612.
- Hirsch F., *Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union*. Ithaca; London: Cornell University Press, 2005, 392 pp.
- Hobsbawn E., Ranger T., *The Invention of Tradition*. London: Cambridge University Press, 1983, 320 pp.
- Humphrey C., 'Does the Category "Postsocialist" still Make Sense?', Hann C. (ed.), *Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia*. London: Routledge, 2002, pp. 12–15.

- Humphrey C., *Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983, 522 pp.
- Humphrey C., Marsden M., Skvirskaja V., 'Cosmopolitanism and the City: Interaction and Coexistence in Bukhara', Mayaram S. (ed.), *The Other Global City*. New York: Routledge, 2008, pp. 202–231.
- Ibañez-Tirado D., "How Can I Be Post-Soviet if I Was Never Soviet?" Rethinking Categories of Time and Social Change — a Perspective from Kulob, Southern Tajikistan', *Central Asian Survey*, 2015, vol. 34, no. 2, pp. 190–203.
- Iğmen A., *Speaking Soviet with an Accent. Culture and Power in Kyrgyzstan*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2012, 240 pp.
- Ilkhamov A., 'Archaeology of Uzbek identity', *Central Asian Survey*, 2004, vol. 23, no. 3–4, pp. 289–326.
- Iholiev A., *The Ismaili-Sufi Sage of Pamir: Mubarak-i Wakhani and the Esoteric Tradition of the Pamiri Muslims*. New York: Cambria Press, 2008, 260 pp.
- Isabaeva E., 'Leaving to Enable Others to Remain: Remittances and New Moral Economies of Migration in Southern Kyrgyzstan', *Central Asian Survey*, 2011, vol. 30, no. 3/4, pp. 541–554.
- Ismailbekova A., *Blood Ties and the Native Son: The Poetics of Patronage in Kyrgyzstan*. Bloomington: Indiana University Press, forthcoming.
- Jacobs-Huey L., 'The Natives Are Gazing and Talking Back: Reviewing the Problematics of Positionality, Voice, and Accountability among "Native" Anthropologists', *American Anthropologist. New Series*, 2002, Sept, vol. 104, no. 3, pp. 791–804.
- Jebens H., Kohl K.-H. (eds.), *The End of Anthropology?* Wantage: Sean Kingston Publishing, 2011, 254 pp.
- Kalinovsky A. M., 'Not Some British Colony in Africa: the Politics of Decolonization and Modernization in Soviet Central Asia, 1955–1964', *Ab Imperio*, 2013, vol. 2, pp. 191–222.
- Kandiyoti D., 'Postcolonialism Compared: Potentials and Limitations in the Middle East and Central Asia', *International Journal of Middle East Studies*, 2002, vol. 34, pp. 279–297.
- Kandiyoti D., Azimova N., 'The Communal and the Sacred: Women's World of Ritual in Uzbekistan', *Royal Anthropological Institute*, 2004, vol. 10, pp. 327–349.
- Kendzior S., *The Future of Central Eurasian Studies: A Eulogy*. Keynote at the 22nd conference of the Association of Central Eurasian Students, Indiana University, March 22, 2015. <<http://sarahkendzior.com/2015/03/08/the-future-of-central-asian-studies-a-eulogy/>>.
- Khalid A., *The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia*. Berkeley: University of California Press, 1998, 360 pp.
- Khalid A., *Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia*. Berkeley; London: University of California Press, 2007, 253 pp.
- Khalid A., 'Introduction: Locating the (Post-) Colonial in Soviet History', *Central Asian Survey*, 2007, vol. 26, no. 4, pp. 465–473.

- Koch N., 'The "Heart" of Eurasia? Kazakhstan's Centrally Located Capital City', *Central Asian Survey*, 2013, vol. 32, no. 2, pp. 134–147.
- Koenker D., 'Revolutions: A Guided Tour', *Association of Slavic, East European and Eurasian Studies Newsnet*, 2014, vol. 54, no. 1, pp. 1–5.
- Kohl K.-H., 'Introduction', Jebens H., Kohl K.-H. (eds.), *The End of Anthropology? Wantage: Sean Kingston Publishing*, 2011, pp. 1–12.
- Kudaibergenova D., 'Between the State and the Artists: Representations of Femininity and Masculinity in the Formation of Ideas of the Nation in Central Asia', *Nationality Papers. The Journal of Nationalism and Ethnicity*, 2015, vol. 43, no. 5.
- Laszczkowski M., 'Building the Future: Construction, Temporality, and Politics in Astana', *Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology*, 2011, vol. 60, pp. 77–92.
- Laszczkowski M., 'State Building(s). Built Forms, Materiality and the State in Astana', Reeves M., Rasanayagam J., Beyer J. (eds.), *Ethnographies of the State in Central Asia: Performing Politics*. Bloomington: Indiana University Press, 2014, pp. 149–172.
- Laurelle M. (ed.), *Migration and Social Upheaval as the Face of Globalization in Central Asia*. Leiden: Brill, 2013, 413 pp.
- Levi S., 'A Transregional Approach to Central Asia', *Social Science Research Council Items and Issues*, 2004, vol. 5, no. 1–2, pp. 27–28.
- Lidzhiev D., 'Kalmyki Kirgizii' [Kalmyks of Kirgizia], 2008. <http://www.bumbinorn.ru/hamagmongol/1165134345-kalmyki_kirgizii_48654.html>. (In Russian).
- Liu M., 'Central Asia in the Post-Cold War World', *Annual Reviews in Anthropology*, 2011, vol. 40, pp. 115–131.
- Liu M., 'Detours from Utopia on the Silk Road, Ethical Dilemmas of Neoliberal Triumphalism', *Central Eurasian Studies Review*, 2003, no. 2, pp. 2–10.
- Liu M., *Under Solomon's Throne: Uzbek Visions of Renewal in Osh*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2012, 328 pp.
- Louw E. M., *Everyday Islam in Post-Soviet Central Asia*. London; New York: Routledge, 2007, 224 pp.
- Malkki L., 'National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity Among Scholars and Refugees', *Cultural Anthropology*, 1992, vol. 7, no. 1, pp. 24–44.
- Mandel R., Humphrey C. (eds.), *Markets and Moralities: Ethnographies of Post-Socialism*. Oxford: Berg, 2002, 240 pp.
- Marsden M., 'Crossing Eurasia: Trans-regional Afghan Trading Networks in China and Beyond', *Central Asian Survey*, 2015, vol. 34, no. 4 (forthcoming).
- Marsden M., "'For Badakshan — the Country without Borders!": Village Cosmopolitans, Urban-Rural Networks and the Post-Cosmopolitan City in Tajikistan', Humphrey C., Skvirskaja V. (eds.), *Post-Cosmopolitan Cities*. New York; Oxford: Berghahn, 2012, pp. 217–238.

- Marsden M., *Living Islam: Muslim Religious Experience in Pakistan's North West Frontier*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 314 pp.
- Marsden M., 'Southwest and Central Asia: Comparison, Integration or Beyond?', Fardon R. et al. (eds.), *The Sage Handbook of Social Anthropology*. London: Sage, 2012, pp. 340–365.
- Marsden M., *Trading Worlds: Afghan Merchants across Modern Frontiers*. London; New York: Hurst & Co; Oxford University Press, 2015, 480 pp.
- Marsden M., Hopkins B., *Fragments of the Afghan Frontier*. New York: Oxford University Press, 2011, 256 pp.
- Marsden M., Ibañez-Tirado D., 'Repertoires of Family Life and the Anchoring of Afghan Trading Networks in Ukraine', *History and Anthropology*, 2015, vol. 26, no. 2, pp. 145–164.
- Massicard E., Trevisani T., 'The Uzbek Mahalla: Between State and Society', Everett-Heath T. (ed.), *Central Asia. Aspects of Transition*. Abingdon: Routledge, 2003, pp. 205–218.
- Massey D., *For Space*. London: Sage, 2005, 232 pp.
- Mastinbekov O., *Leadership and Authority in Central Asia. The Ismaili Community in Tajikistan*. New York; London: Routledge, 2014, 202 pp.
- McBrien J., 'Listening to the Wedding Speaker: Discussing Religion and Culture in Southern Kyrgyzstan', *Central Asian Survey*, 2006, vol. 25, no. 3, pp. 341–357.
- McBrien J., 'Mukadas's Struggle: Veils and Modernity in Kyrgyzstan', *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 2009, vol. 15, no. S1, pp. S127–S144.
- McBrien J., 'Watching Clone: Brazilian Soap Operas and Muslimness in Kyrgyzstan', *Material Religion*, 2012, vol. 8, no. 3, pp. 374–396.
- McBrien J., Pelkmans M., 'Turning Marx on his Head: Missionaries, "Extremists" and Archaic Secularists in Post-Soviet Kyrgyzstan', *Critique of Anthropology*, 2007, vol. 28, no. 1, pp. 87–103.
- Megoran L., 'The Critical Geopolitics of the Uzbekistan-Kyrgyzstan Ferghana Valley Boundary Dispute, 1999–2000', *Political Geography*, 2004, vol. 23, no. 6, pp. 731–764.
- Mielke K., Hornidge A.-K., *Crossroads Studies: From Spatial Containers to Social Interactions in Differentiated Spatialities* (Crossroads Asia Working Paper No. 15). Bonn: ZEF, 2014, 60 pp.
- Mirsepasi A., Basu A., Weaver F., 'Introduction: Knowledge, Power and Culture', Mirsepasi A., Basu A., Weaver F. (eds.), *Localizing Knowledge in a Globalizing World. Recasting the Area Studies Debate*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2003, pp. 1–24.
- Mitchell T., 'Deterritorialization and the Crisis of Social Sciences', Mirsepasi A., Basu A., Weaver F. (eds.), *Localizing Knowledge in a Globalizing World. Recasting the Area Studies Debate*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2003, pp. 148–170.

- Monsutti A., *War and Migration: Social Networks and Economic Strategies of the Hazaras of Afghanistan*. New York; London: Routledge, 2005, 252 pp.
- Morrison A., 'Applied Orientalism in British India and Tsarist Turkestan', *Comparative Studies in Society and History*, 2009, vol. 51, no. 3, pp. 619–647.
- Mostowlansky T., 'The Road Not Taken: Enabling and Limiting Mobility in the Eastern Pamirs', *Internationales Asienforum / International Quarterly for Asian Studies*, 2014, vol. 45, no. 1–2, pp. 153–170.
- Mostowlansky T., 'Where Empires Meet: Orientalism and Marginality at the Former Russo-British Frontier', Borner P., Gorshenina S. (eds.), *L'Orientalisme des marges: éclairages de l'Inde et de la Russie. Etudes des Lettres*, 2014, no. 2–3, pp. 179–196.
- Mühlfried F., Sokolovskiy S., *Exploring the Edge of Empire: Soviet Era Anthropology in the Caucasus and Central Asia*. Münster: LIT, 2011, 337 pp.
- Myer W., *Islam and Colonialism: Western Perspectives on Soviet Asia*. London: Routledge; Curzon, 2002, 263 pp.
- Nanzatov B., Sodnompilova M., 'Karakolskie sart-kalmaki: Polevye ocherki [The Sart-kalmaks of Kara-Kol: Field notes]', *Tartaria Magna*, 2012, no. 2, pp. 128–151. (In Russian).
- Narayan K., 'How Native is a "Native" Anthropologist?', *American Anthropologist, New Series*, 1993, Sept., vol. 95, no. 3, pp. 671–686.
- Nasritdinov E., 'Only by Learning to Live Together Differently Can We Live Together at All. Readability and Legibility of Central Asian Migrants' Presence in Urban Russia', Schröder P. (ed.), *Central Asian Survey. Special issue on Urban Spaces and Lifestyles in Central Asia and Beyond*, (forthcoming).
- Naumkin V., *Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle*. Lanham; Oxford: Rowman & Littlefield, 2005, 336 pp.
- Pétric B., 'Post-Soviet Kyrgyzstan or the Birth of a Globalized Protectorate', *Central Asian Survey*, 2005, Sept., vol. 24, no. 3, pp. 319–332.
- Pétric B., *Pouvoir, don et réseaux en Ouzbékistan post-soviétique*. Paris: Presses Universitaires de France, 2002, 320 pp. (Collection "Partage du savoir").
- Pétric B., *Where are All Our Sheep: Kyrgyzstan a Global Political Arena*. New York: Berghahn Press, 2015, 185 pp.
- Pomeranz K., *The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy*. Princeton: Princeton University Press, 2001, 392 pp.
- Portes A., *Globalization from below: The Rise of Transnational Communities. Working Paper Series (University of Oxford Transnational Communities)*, 1997, vol. 98, no. 8, 52 pp.
- Rasanayagam J., *Islam in Post-Soviet Uzbekistan: the Morality of Experience*. New York: Cambridge University Press, 2010, 296 pp.
- Rashid A., *Jihad: the Rise of Militant Islam in Central Asia*. New Haven: Yale University Press, 2002, 320 pp.

- Reeves M., 'Antropologija Srednei Azii cherez desiat let posle "sostoianie polia": stakan napolovinu polon ili napolovinu pust?' [The Anthropology of Central Asia Ten Years after "The State of the Field": A Cup Half Full or Half Empty?], *Antropologicheskij Forum*, 2014, no. 20, pp. 60–79. (In Russian).
- Reeves M., *Border Work. Culture and Society After Socialism*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2014. 292 pp.
- Reeves M., 'Clean Fake: Authenticating Documents and Persons in Migrant Moscow', *American Ethnologist*, 2013, vol. 40, no. 3, pp. 508–524.
- Reeves M. 'Staying Put? Towards a Relational Politics of Mobility at a Time of Migration', *Central Asian Survey*, 2011, vol. 30, no. 3–4, pp. 555–575.
- Reeves M., Rasanayagam J., Beyer J. (eds.), *Ethnographies of the State in Central Asia: Performing Politics*. Bloomington: Indiana University Press, 2014, 332 pp.
- Remnev A., 'Kolonialnost, postkolonialnost i "istoricheskaya politika" v sovremennom Kazakhstane' [Coloniality, Postcoloniality and "Historical Policy" in Contemporary Kazakhstan], *Ab Imperio*, 2011, no. 1, pp. 169–205. (In Russian).
- Rippa A., 'From Uyghurs to Kashgaris (and back?). Migration and Cross-border Interactions between Xinjiang and Pakistan', *Crossroads Asia Working Papers Series*, 2014, vol. 3, pp. 1–30.
- Roche S., *Domesticating Youth. Youth Bulges and their Socio-political Implications in Tajikistan*. New York; Oxford: Berghahn, 2014, 296 pp.
- Roche S., 'Gender in Narrative Memory. The Example of Civil War Narratives in Tajikistan', *Ab Imperio*, 2012, no. 3, pp. 279–307.
- Roy O., *The New Central Asia: The Creation of Nations*. London: I. B. Tauris, 2000, 272 pp.
- Sahadeo J., Zanca R. (eds.), *Everyday Life in Central Asia. Past and Present*. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2009, 424 pp.
- Sahlins M., 'Cosmologies of Capitalism: the Trans-Pacific Sector of the World System', *Proceedings of the British Academy*, 1988, vol. 74, pp. 1–51.
- Saïd E., *Orientalism*. New York: Vintage Books, 1978, 368 pp.
- Saxer M., *Remote Pathways: The Non-Peripheries at the Edge of Nation States*. Unpublished manuscript.
- Schatz E., *Modern Clan Politics: The Power of "blood" in Kazakhstan*. Seattle: University of Washington Press, 2002, 280 pp.
- Schmoller J., *Achieving a Career, Becoming a Master. Aspirations in the Lives of Young Uzbek Men*. Berlin: Klaus Schwarz, 2014, 240 pp.
- Schröder P., Stephan-Emmrich M., 'The Institutionalization of Mobility: Well-Being and Social Hierarchies in Central Asian Translocal Livelihoods', *Mobilities* [Online first], 2014, pp. 1–24.
- Sidaway J. D., 'Long Live Trans-area Studies!', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 2012, vol. 168, no. 4, pp. 506–508.

- Snajder E., 'Ethnicizing the Subject: Domestic Violence and the Politics of Primordialism in Kazakhstan', *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, 2007, vol. 13, no. 3, pp. 603–620.
- Snajder E., 'Gender, Power, and the Performance of Justice: Muslim Women's Responses to Domestic Violence in Kazakhstan', *American Ethnologist*, 2005, vol. 32, no. 2, pp. 294–311.
- Stahl K., *British and Soviet Colonial Systems*. London: Faber & Faber, 1951, 114 pp.
- Street A., 'Affective Infrastructure: Hospital Landscapes of Hope and Failure', *Space and Culture*, 2012, vol. 15, no. 1, pp. 44–56.
- Stronski P., *Tashkent. Forging a Soviet City 1930–1966*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2010, 320 pp.
- Tarrius A., *La mondialisation par le bas: les nouveaux nomades de l'économie souterraine*. Paris: Balland, 2002, 220 pp.
- Taussig M., 'Redeeming Indigo', *Theory, Culture and Society*, 2005, vol. 25, pp. 1–18.
- Tlostanova M., 'Can the Post-Soviet Think? On Coloniality of Knowledge. External Imperial and Double Colonial Difference', *Intersections. East European Journal of Society and Politics*, 2015, no. 1(2), p. 38–58.
- Tlostanova M., 'Transcultural Tricksters in between Empires: "Suspended" Indigenous Agency in the Non-European Russian / Soviet (Ex-) Colonies and the Decolonial Option', Tlostanova M., Mignolo W. (eds.), *Learning to Unlearn. Decolonial Reflections from Eurasia and the Americas*. Columbus: Ohio State University Press, 2012 (Transoceanic Studies), pp. 83–121.
- Vaksberg A., *The Soviet Mafia*. London: Wedenfield and Nicolson, 1991.
- van Schendel W., 'Geographies of Knowing, Geographies of Ignorance: Jumping Scale in Southeast Asia', *Environment and Planning D: Society and Space*, 2002, no. 20, pp. 647–668.
- Waugh R. M. (ed.), *Civil Society in Central Asia*. Washington: Washington University Press, 1999, 320 pp.
- Werner C., 'Bride Abduction in Post-Soviet Central Asia: Marking a Shift Towards Patriarchy through Local Discourses of Shame and Tradition', *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 2009, vol. 15, pp. 314–331.
- Werner C., Barcus H., Brede N., 'Discovering a Sense of Well-Being through the Revival of Islam: Profiles of Kazakh Imams in Western Mongolia', *Central Asian Survey*, 2013, vol. 32, no. 4, pp. 527–541.
- Wheeler G., 'Race Relation in Soviet Muslim Asia', *Journal of the Royal Central Asian Society*, 1960, vol. 47, no. 2, pp. 93–105.
- Wooden A., *Moving Rocks and Glaciers, Shifting Resistance and Identities. Mining Developments and Discourses in Post-Soviet Kyrgyzstan (1998–2015)*. Paper presented to the workshop on Development and Modernization in the Soviet and Post-Soviet Periphery, University of Leiden, September 25–26, 2015.

- Yalowitz K., Rojansky M., 'The Slow Death of Russian and Eurasian Studies', *The National Interest*, 2014, May 23. <<http://nationalinterest.org/feature/the-slow-death-russian-urasian-studies-10516>>.
- Zevaco A., 'Réseaux, espaces et représentations: le musicien tadjik, persan et soviétique', Ducloux A., Gorshenina S., Jarry-Omarova A. (eds.), *Anthropologie des réseaux en Asie centrale*. Paris: CNRS Editions, 2012, pp. 201–231.
- Zhukovskaya N. L., 'Issyk-Kulskie kalmaki (sart-kalmaki)' [The Kalmaks of Yssyk-Kul' (Sart-kalmaks)], *Etnograficheskie protsessy u natsionalnykh grupp Sredney Azii i Kazakhstana* [Ethnographic Processes among National Groups of Middle Asia and Kazakhstan]. Moscow: Nauka, 1980, pp. 157–166. (In Russian).